

И  
Л

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Юхан Борген

Декабрьское  
солнце





*Дорогие читатели!*

*Ждем ваших отзывов  
о книжном приложении  
журнала  
«Иностранная литература».*

*Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41.*

**Johan Bergen**

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Юхан Борген

# Декабрьское солнце

Рассказы

*Перевод с норвежского  
С. Тархановой*

*Составление Э. Панкратовой  
Предисловие Юрия Нагибина*

Москва  
«Известия»  
1983

**И (Норв)**  
**Б82**

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

**Б82**      **Борген Ю.**  
Декабрьское солнце / Пер. с норв.  
С. Тархановой. Сост. Э. Панкратовой.  
Предисл. Юрия Нагибина.— М.: Известия,  
1983. 128 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Семь новелл всемирно известного норвежского писателя-гуманиста, вошедшие в сборник, написаны в разные годы. Разнообразные по тематике и по стилистике, эти рассказы — лирические, сатирические, трагические — говорят об одиночестве человека в современном буржуазном обществе, утверждают необходимость ответственности каждого человека за события, большие и малые, происходящие в мире.

**Б** **4703000000-026** **758-83**  
**074(02)-83**

**ББК 84.4Нр**  
**И(Норв)**

© Составление, предисловие и переводы на русский язык, кроме рассказов, отмеченных в оглавлении знаком\*, издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1983.

## Немного о Юхане Боргене и его рассказах

Норвежский писатель Юхан Борген широко известен у нас своей замечательной трилогией «Маленький лорд», «Темные источники», «Теперь ему не уйти», меньше знают его как рассказчика. Борген писал социальные и психологические романы, пьесы, статьи, рецензии, отдал дань юмору и сатире, журналистике, в последние годы жизни увлекался радиодрамматургией, доносившей его слово в самые глухие уголки страны, в далекие рыбацкие поселки, но любовью к новеллистическому жанру окрашена вся его долгая творческая жизнь. Этим он отличается от большинства крупных западных писателей: начинают с рассказов многие, но в зрелости оставляют новеллу ради монументальной романной формы.

Я повстречал Юхана Боргена, когда тишина уже простерла над ним свои крылья. Он жил с женой и сыном в одиноком доме на острове Асмалене, километрах в ста от Осло, где они проводят зиму. Надо было ехать машиной через городок Фредрикстад и несколько мостов к пристани, дальше мотоботом до самодельного асмаленского причала, отсюда крутая каменистая тропинка вела к деревянному некогда красному, обелесевшему от соленых брызг, солнца и ветра, старому — старше века, — но еще крепкому дому. Над островом летали чайки, дикие утки и гуси, парили на недвижных крыльях хищные птицы. Благостную тишину взрывали иные хищники: сверхзвуковые натовские истребители, базировавшиеся поблизости. Гром военных самолетов не нарушал великой тишины, царившей в душе хозяина дома, он их вовсе не замечал. Но это не значило, что больной, сильно одряхлевший плотью Юхан Борген утратил слух к шуму жизни, ко всем голосам, звучащим в мирозданье. Нет, он презирал, не хотел слышать злой, вульгарный шум, но куда более тихим, деликатным шумам, творящимся в

просторе и насылаемым неослабевшей с годами памятью, он с готовностью открывался.

До того как Юхан Борген стал «островитянином», он жил деятельной, активной жизнью, участвовал в социальной борьбе, во время войны и оккупации был связан с норвежским Сопротивлением, за что попал в тюрьму, а еще раньше много путешествовал (он предпочитает слово «бродяжил»), объездив Европу, Америку, Африку. Его островное уединение не было бегством от людей, но Боргену казалось, что соотечественники начали его забывать, и он отступил в тень. С легкой и печальной усмешкой он говорил мне, что любил хорошие города, как женщин, и теперь часто вспоминает о них. Они стоят перед его взглядом: Париж, Лондон, Рим, Афины, Копенгаген, Сан-Франциско, но ему не верится, что он действительно бывал там. Прекрасные города то ли приснились, то ли пригрезились в молодости, то ли кто-то рассказал о них так красноречиво, что возникло чувство присутствия. Какое счастье, что внутри у него столько городов!.. Он мог бы добавить: и столько человеческих лиц — женских, мужских, детских, и столько больших и малых событий, и столько гор, скал, деревьев, трав, цветов, птиц и зверей, столько звуков и красок, столько любви и нежности, иронии и гнева, столько заинтересованности в горячих делах мира. Бесстрашно разбазаривая себя, Юхан Борген умудрился ничего не потерять, его душевная кладовая была по-прежнему полна, и он с той же щедростью черпал из нее. Недаром большинство вошедших в этот сборник рассказов написано в семьдесят четвертом году — в канун нашего знакомства.

Юхан Борген — человек с содранной кожей. Он ничем не защищен от действительности, вернее, защищен лишь своим талантом. Если б не божий дар превращать в поэзию каждое переживание, все мучительное, болезненное и страшное, что насылал на него век-волкодав не только в грозу, но и в затишье, ему бы не уцелеть.

Каждому из нас доводилось видеть заброшенные кладбища, заросшие высокими травами и земляникой, с покосившимися



крестами, с замшелыми плитами, плесенной сыростью склепов. Нет ничего мертвее заброшенного кладбища, ничего безнадежнее, и торопливые, рассеянные прохожие отзываются им промельком грустной думы, легким сжатием сердца, вздохом, а вот Юхана Боргена вид заброшенного кладбища из окошка поезда расстрелял в упор. Рассказ «В добрый путь!» написан от первого лица, но не только это и даже не совпадение черт характера и обстоятельств жизни заставляет видеть в герое самого автора, а его до болезненности обостренная чувствительность, отзывчивость на печаль и муку, ранимость. Мелькнуло забытое кладбище, место упокоения давным-давно минувших людей, неведомых Рассказчику, едущему в свой уютный дом, в семью, с подарками и едой (даже кусочек дорогой вкусной семги не забыл), и разом сползли бытовая уравновешенность, доброе настроение благодушествующего обывателя, сердце засочилось болью за всех ушедших, убитых на войне, погубленных и продолжающих гибнуть от голода, нищеты и политики, да и за всех живущих, ибо обреченные жизни — жатва неминуемой смерти и забвения. Путник забыл, куда и зачем ехал, забыл о катере, который должен доставить его на остров, о семье, о подарках, о вкусной семге, о шерсти, из которой жена будет вязать теплые вещи, и потащился к заброшенному кладбищу, хотя ни сам он, ни окружающие не знают толком, где оно находится. Лишь странный пристанский кладовщик с бородавкой под глазом, словно проглянув скрытое веление, толкнувшее на поиски старого, усталого человека, сказал загадочно: «В добрый путь!». И тот пошел, сам не зная куда. И так неторен, так мучителен оказался его путь, что сразу «сносились» ноги, и он пополз, цепляясь за землю руками, как ползают нищие калеки на Востоке — братья его и всех нас в человечестве. Пронизанный вселенской болью, он упрямо продвигается к ушедшим, о которых нельзя забывать. Ни одно кладбище не должно быть вовсе брошенным, кто-то должен появляться среди заросших могил, в памяти о мертвых — спасение живых. Рассказ сильный, искренний, страстный, до конца боргеновский, из самого сердца — при кажущейся искусственности, но ведь надо

помнить, что это не бытописание, а притча. Это квинтэссенция сути Боргена, неотторжимой от человеческой боли.

Вина перед умершими, вина перед убитыми, вина перед загубленными преследует незащищенную совесть Юхана Боргена. Чувством самой страшной вины — вины перед ребенком — создан пронзительный рассказ «Письмо от Ива». Автор не только не маскирует ощутимую связь своего рассказа с «Дневником Анны Франк», но сам говорит об этом, и признание его не в ущерб истории странного, коверкающего слова мальчика Ива, в котором угадывается богато одаренная художественная натура, мальчика смешанной крови, затравленного и скорей всего уничтоженного гитлеровцами, как Анна Франк. А начались муки рассказчика с того, что он получил письмо, шедшее к нему тридцать лет — с августа 1944 года из оккупированной Франции в оккупированную Норвегию. Это непрочитаемое, лишь смутно угадываемое письмо — вопль о спасении, но это же и луч света, вспыхнувший в чистой детской душе и ныне ставший надеждой старого измученного сердца. Обреченный гибели мальчик Ив спасает человека, уцелевшего в испытаниях войны, но изнемогающего под грузом общечеловеческой боли в дни относительного покоя. Вот она, взаимосвязь людей — последняя вера Юхана Боргена.

В «Декабрьском солнце» Борген в который раз обращается к важнейшей для него проблеме: человек и общество. Как это ни странно, но дряхлый, больной герой этого рассказа сродни Маленькому лорду — тот же предельный индивидуализм. Как и Вилфред Саген, он всю жизнь стремился отделить себя от окружающих, самоизолироваться, порвать все нити, связывающие человека с себе подобными. И все же он никогда бы не достиг желаемого, если б «на помощь» не пришла банда, похитившая его из кафе, где он, словно провоцируя подозрительную компанию (наверное, тут и впрямь была бессознательная провокация), швырял деньги и сообщал о себе разные соблазнительные сведения. Злоумышленники без труда завлекли его в ловушку, где будут держать до тех пор, пока не вытянут из него всех денег, после чего за ненадобностью прикончат. Дер-

жат узника в обычной квартире современного комфортабельного дома в пригороде, или, как принято говорить в Норвегии, городе-спутнике. Великолепная возможность для индивидуалиста-затворника проверить на практике свои убеждения. И вот с немалым удивлением он обнаружил, что для него стало крайне важно все происходящее за окнами: будничная суетливая жизнь маленьких людишек, которых он в грош не ставил. Нет, не обрел он ни счастья, ни покоя, ни умиротворения в своем совершенном одиночестве. И зашевелился незнакомый прежде страх смерти — философия отчуждения дала серьезную трещину. Напрасно пытается он убедить себя, что ему дела нет до муравьев за окнами, все настойчивей стучится мысль: будь ты нужен им, пришло бы спасение. Но спасения нет. Что посеешь, то пожнешь. Но так хочется соединиться с миром, которого он почти не различал своими старыми глазами, ослепленными низким декабрьским солнцем, но тщетно: тому, кто не дал другим хоть крупицы добра, нечего ждать помощи, он обречен.

Для Юхана Боргена действительность, жизнь — это бесконечно варьирующаяся комбинация тенет. Человек постоянно оказывается пленником — то других людей, то собственных неясных стремлений, заблуждений, страхов, подавленных и вдруг раскрепостившихся страстей. И нередко, лишь оказавшись в реальном или условном, фигуральном узилище, постигает он, хоть частично, и окружающее, и самого себя. Мальчик из рассказа «Жимолость» — духовный брат Маленького лорда. Его также манит эксперимент на тему: выпадение из привычных жизненных координат. Он чужд миру своих сверстников, их смелым играм, но ради обретения полной отрешенности отваживается на поступок, едва ли доступный самым дерзким сорванцам. Он забрался по жердочкам, набитым на стену дома, чтобы жимолость, словно вьюнок, могла достигнуть крыши, так высоко, что пропал для окружающих, сам утратил себя привычного, растворился во всем, изведав бесконечность и собственную немощь. Рискованный опыт убедил его в прежнем тайнознании: за пьянящей истомой и сладостным ужасом оказывается все то же одиночество, что и в земном привычье. Одиночество,

которое всю жизнь преодолевал Юхан Борген (в творчестве, борьбе, странствиях, усыновлении брошенных детей), но так, кажется, и не преодолел. Рассказ исполнен безнадежности: пытающийся вырваться из обыденности маленький герой повисает меж двух одиночеств.

Этот рассказ написан в 1948 году, а через четыре года Борген пишет другой рассказ на близкую тему — «Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего детства...», где героиня выкуплена любовью близкого человека из душного плена детства, парализовавшего ностальгическим бредом ее душу. Тут звучит надежда: человек может быть излечен другим человеком — любимая мысль нашего Андрея Платонова.

Похоже, в дальнейшем эта надежда надолго покинула Боргена и вновь пробудилась в обжигающем рассказе про маленького Ива, чей слабый голос одолел мировое молчание. Ив коверкал слова, его не понимали даже близкие люди, но, оказывается, слова не важны, важен порыв человека к человеку.

В иной стилистической манере написан относительно ранний — тридцатых годов — рассказ «Цыпленок». Это почти бытовой рассказ, сценка из скудной жизни маленького чиновника-цыпленка, которому на мгновение показалось, что он «король в доме своем». Но подмешалась неизбежная у Боргена тема фатального непонимания даже самых близких людей, невозможности пробиться друг к другу.

Мне посчастливилось провести с Юханом Боргеном целый день в его островном обиталище. Казалось бы естественным поделиться воспоминаниями о его быте, о доме, заполненном старинными вещами, картинами, рисунками, вышивками, поделками народного искусства, фотографиями, о садовом участке, где каждый клочок земли среди валунов, гранитных выбросов, каменюк понужден растить розы, тюльпаны, астры, кусты краснотала и шиповника, о его прекрасной, молчаливо-величественной жене, похожей на индианку, о добром работяге сыне, но после рассказа «Кто есть кто», входящего в этот сборник, я не могу и не хочу этого делать. Рассказ-интервью несомненно автобиографичен, хотя Борген несколькими смелы-

ми приемами вывел его в беллетристику. Прочтя «Кто есть кто», я укрепился в давней мысли, что обстановка, в которой живет писатель, окружающие его вещи и предметы искусства, весь, казалось бы, органичный быт порой никак не отражают его сути, ибо порождены случаем, а не сознательным отбором. Событийная ткань жизни тоже может остаться нейтральной к главному — творчеству. И вообще, надежнее выводить писателя из его произведений, из признаний, полупризнаний, проговоров, рассыпанных там, а не из этажерок, картинок, безделушек, копящих пыль в его жилье, не из плоской житейщины. Думается, читатели этого сборника составят более полное представление о томлениях великого духа и поисках беспокойного ума одного из лучших писателей Скандинавии по его — очень личным — рассказам, нежели по бытовым зарисовкам поры его преклонных дней.

*Юрий Нагибин*

# Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего детства...

Дом в лесу был красный с северной стороны, но на западной и восточной и особенно на южной стороне солнце соскоблilo краску, и стены отливали старинным серебром.

Все здесь было не так, как он ожидал: она говорила, будто дом красный. Они еще не отперли дверь, а она уже водила его вокруг дома и все показывала: «Вот видишь, красный он!»

— Милая, я же не спорю!— сказал он, глядя вниз, на ее волосы. Что-то нынче не ладилось — все не ладилось. «Все не так»,— подумал он.

— Вот ключ!— сказала она и вынула колечко с четырьмя ключами. Они казались несоразмерно маленькими, слишком городскими для приземистого дома, сбитого из толстых бревен. Должно быть, он рассчитывал увидеть тяжелый большой ключ, каким отпирают амбары.

— Какой?— спросил он, перебирая связку, которую она ему подала.

— Угадай,— сказала она.— Я где-то читала или слышала, что отпирать дом должен мужчина.

Обойдя дом, они подошли к серебристо-серой южной стене; в проем между елей упал косой солнечный луч. Через полчаса солнце уже сядет. Снизу поднимался густой туман. Дом стоял на холме между двумя озерами.

— Сама боишься отпереть?— поддразнил он ее и нежно погладил по волосам. Они были почти золотые сейчас, в черном солнце.

— Любой побоится отпереть дом, который так долго стоял пустым,— сказала она. На лице ее не было и тени улыбки.

Вероятности наперекор он взял самый маленький из ключей. Ключ подошел к замку. Дверь легко поддалась, приоткрылась, словно кто-то потянул ее к себе изнутри.

— Ну?— сказал он. Но она не тронулась с места, и он продолжал:— А я где-то читал или слышал, что мужчина должен уступать женщине право первой перешагнуть порог дома!

И он ласково опустил руку на ее затылок.

Но затылок был неподатливый, жесткий, он сразу это почувствовал.

— Не то ты читал,— сказала она.— К пустым домам это не относится.

Они постояли на веранде. Прямо на них легла тень от высокой ели. Похолодало.

— Так-так,— чуть растерянно сказал он.— Пусть будет по-твоему.

Он взял с веранды оба рюкзака, большой и маленький, и понес в комнату, держа их перед собой на вытянутых руках; будто загоразживаясь от чего-то, подумал он. Внутри в доме было совсем темно.

Она окликнула его с веранды:

— Отвинти изнутри ставни. А я подержу снаружи.

Он стал пробираться к окошку на западной стороне, шел ощупью, хоть и была распахнута дверь. Ухватил пальцами крылатую гайку, но она будто выросла в стену. Надо было найти что-нибудь вроде молотка.

— погоди!— крикнул он, обернувшись к окну.— Я должен что-то найти — отбить гайку!

Он думал, что она стоит за окном, но она отозвалась из дверного проема:

— Прямо от окна по стенке, справа от кухонной двери будет шкаф, молоток найдешь на нижней полке.

Он закрыл глаза. Старый трюк, когда бредешь в потемках по чьей-то указке. Он всегда был точен и аккуратен в мелочах и сразу нашел молоток, словно знал, где он лежит. Затем, не открывая глаз, чтобы не ослепил светлый проем двери, вернулся назад к окошку и застучал молотком.

Наконец гайка поддалась.

— Держи! — крикнул он.

— Держу! — спокойно отвечала она. Она стояла теперь за окном. По голосу было слышно, что она встала на цыпочки. Он открутил гайку. Она снаружи вытянула болт. Он положил гайку на верхний карниз окна — догадался, что там ее место.

Она распахнула ставни и крючком закрепила их. Дом наполнился светом. От деревьев уже не было тени. Вечернее солнце сотворило комнату. И тут он впервые увидел грубый некрашенный стол, узорную печь, синюю вазу — все в точности как она говорила. Она вдруг очутилась в комнате, рядом с ним. И будто волна всколыхнулась в нем.

— Здесь? — спросил он.

Прикинув к нему, она увидела комнату такой, какой она отражалась в его глазах, и просто ответила, повторив вслед за ним:

— Здесь.

Наутро он пошел за водой к колодцу. Возвращаясь с ведрами, он невольно улыбнулся при виде дома. Ставни растворены на одном окне. Остальные закрыты, будто в доме никого нет. Словно взломщики влезли в окно, а затем бросили дом и бежали. Но взломщики-то они сами. Вчера, войдя в дом, они порылись в своих рюкзаках и нашли кое-какую снедь, но есть не стали и питье только чуть пригубили в потемках. Она привычно забралась на чердак, достала постельное белье с балки под крышей и снесла его вниз в просторную спальню, где в потемках застелила кровать. И все время тихо смеялась, смеялась от счастья, бурлившего в ней, но еще не хлынувшего через край, от



ожидания, которое так долго жило в душе, что потерялись слова.

Простыни были влажные, жесткие, будто тонкий лед, но все вокруг пылало огнем.

Нагой, он шел с ведрами в холодном утреннем солнце и, взглянув на дом, остановился и стал осматриваться кругом. В прозрачном сентябрьском воздухе стройные, белые стояли березы, кора была мокрая от росы. Он бросил взгляд на свои ручные часы, и улыбка тронула его губы. «Водонепроницаемые» — значилось на них. «Да, только проницаемы для стрел любви», — мелькнула озорная мысль. Вчера он забыл снять на ночь часы. Только бы он не поцарапал ей кожу. Надо будет проверить.

Поставив на место ведра, он растопил плиту. В ящике нашлись сухие дрова, а сверху даже лежали длинные лучины для растопки. Обитатели дома, оставившие его бог знает сколько лет назад, видно, любили порядок. Чайник вычищен, перевернут дном кверху. Кастрюли развешаны по стенам. В печи хорошая тяга. Дрова вспыхнули от первой же спички.

Стоя на кухне, он слышал, как она, ступая почти беззвучно, выскользнула за дверь. Он даст ей вернуться и лечь и только потом придет смотреть, как она стряхивает с себя сон. Пусть думает, что он все еще у колодца. Услышав, как она, босая, торопливо крадется назад, он снял с огня шипящую яичницу — пусть думает, что он все еще не вернулся с водой. Затем он принялся за блаженные приготовления к завтраку.

Когда поднос был готов — каждому глазунья из двух яиц, помидоры, свежесваренный кофе и подсушенный хлеб, — он поставил на одну из конфорок воду, остальные закрыв кружками, а сам пошел с подносом в руках в спальню, весело и лукаво напевая неперемный свадебный марш Мендельсона. Конечно, она не спит. По крайней мере, ей не надо будет притворяться, что она заснула.

Но он замер посреди спальни. Она и вправду спала.

Она спала непритворным сном. Счастье захлестнуло его. Поднос в его руках накренился, посуда поехала вниз.

Отчаянным усилием он спас завтрак в последний миг и бережно опустил поднос у кровати на ящик, служивший им чем-то вроде ночного столика, а затем неслышно растянулся рядом с ней в постели, еще хранившей тепло его тела, тепло, сбереженное периной.

Затаив дыхание, смотрел он, как она спит. А она спала совсем тихо. Он наклонился к ее уху, тронул его губами, еще и еще раз — это было чудесно.

Она раскрыла глаза и взглянула ему прямо в лицо. Губы, свежие губы к губам.

Но она решительно оттолкнула его и сказала:

— Кофе! Чувствую запах кофе!

Он спрыгнул с кровати и подбежал к ней с подносом. Подал ей завтрак. Кормил ее с ложечки. Потом присел рядом с ней на краю постели и тоже поел. Она зажгла сигарету, сказала:

— Я и не знала, что у тебя такие красивые ноги.

— Неприлично говорить голому мужчине про его ноги,— польщенно отозвался он.— А у тебя ноги какие?

— Хочешь — взгляни,— сказала она и подвинулась, чтобы он мог лечь рядом с ней.— Кажется, тоже красивые,— еще сказала она и отдала их ему во владение. На пол тихо упали его ручные часы.

Но после, когда они встали и облачились в одежду, более приличествующую условностям, она спросила:

— Как ты сумел приготовить такой восхитительный завтрак?

— Я же всегда запоминаю все, что ты говоришь,— сказал он.— Не в пример кое-кому. Я знал, где у вас что спрятано.

— А я,— сказала она, когда они сидели на веранде, греясь в лучах сентябрьского солнца,— я знала, что ты притаился, не хотел, чтобы я слышала, как ты орудуешь в кухне.

— Ты знала, что я на кухне, когда выходила из дома?— обиженно спросил он.

— Милый,— сказала она,— какой ты еще ребенок!

За день они обошли все окрестности. Он сказал:

— Давай лучше возьмем сейчас влево, тогда мы не так скоро выйдем к озеру!

Она взглянула на него удивленно. Перед ними были две тропки. Одна, крутая, вела сквозь заросли папоротников с вечно влажными листьями, другая вилась широкой спиралью, сухая, открытая солнцу, удобная для ходьбы.

— И к тому же я не люблю, когда папоротник щекочет икры,— сказал он.

— Здесь нет папоротника,— осторожно возразила она.

Он сказал:

— Дальше книзу, где тропинка совсем сужается, растет папоротник, кстати, дети его боятся.

— Нашему ребенку, во всяком случае, не больше нескольких часов,— сказала она и смерила его совсем новым взглядом.— Откуда ты знаешь здешние места?

Вместо ответа он увлек ее за собой на широкую тропку, ту, что пленила его щедрым извивом. Здесь у подножья деревьев росла кислица. Он нарвал травки, и они принялись ее сосать.

— Я ребенком всегда рвала здесь кислицу,— сказала она.

— Милая,— ответил он,— я все помню! А внизу теперь растут только фиалки.

Она сказала:

— Ты лукавишь, ты здесь уже бывал!

Они подошли к озеру. Он сбросил с себя одежду и не раздумывая ринулся со скалы в глубину. Когда он выплыл, она стояла на камне.

— Ты порочная женщина,— крикнул он ей из воды.— Не стыдно тебе стоять здесь в платье?

Она сняла платье и бросилась в воду к нему. Зябко стуча зубами, вышли они из воды и, рука в руке, заковыляли по неровному дну к невысокой скале, с которой ныряли.

— А теперь,— сказал он, когда они снова натянули на себя одежду,— теперь мы взберемся на холм, где нет ничего, кроме ночи и дня.

— Признайся,— сказала она, когда они поднимались вверх по тропинке.— Признайся, что ты бывал здесь раньше.

— Бывал,— согласился он.— Я был всегда, с того самого первого раза, как ты заговорила со мной о здешних местах.

— Это в мечтах. А в жизни?

— В какой жизни? Разве есть другая жизнь?

— Кроме моего детства?— переспросила она. В голосе ее была тревога.

— Кроме тебя!— сказал он. Они вышли на луг, где обычно росли цветы.— Но цветов здесь теперь уже нет.

И как только он это сказал, она заметила: цветов на лужайке нет. Она знала в глубине души, что память сыграла с ней шутку, какую часто играет с нами: собрала воедино подробности многих дней и лет в один прекрасный рисунок, заставляя нас верить, что вот так-то все оно и было тогда.

Но когда он уснул, а они в тот день легли рано, она вышла из дома в ночь, падавшую на землю. Воздух был теплый, но роса холодила босые ноги. Обойдя дом, она оглядела три его стены, на которых слабо мерцали в свете звезд серебристо-серые бревна.

Потом она подошла к красной северной стене дома и оттуда спустилась по крутой, неудобной тропинке к озеру, лежавшему по эту сторону, и ноги ее увязали в зарослях папоротника. Осторожно сойдя вниз по крутым каменным уступам, она вышла на узкий илистый бережок, куда в дни ее детства втаскивали лодку. Она глядела на длинное, темное зеркало озерца, на лес, черной полоской окаймлявший его с двух сторон, на зубчатые звезды, непостижимо близко мерцавшие между деревьев, и думала: «Вот здесь я сидела ребенком»

Без лодки маленький пляж казался совсем пустынным. Потому что она все еще ждала, что зеркальная гладь воды вдруг

вздыбится морщинами от скользящей к берегу лодки, на которой будет сидеть, протянув через борт длинные нескладные ноги, девчушка, вся покрытая золотистым загаром. Ждала, что услышит голоса, которые вносят суету и покой. Она вновь поднялась по узкой тропинке, отыскивая ногой каменные ступеньки. Из-за холма показался дом, обращенный к ней красной стеной; стояла тьма, но не такая, чтобы трудно было что-либо различить. Она вновь ощутила сладостный страх прежних далеких дней, когда бродила вокруг одна, а родные спали в доме, где гасили огонь, и ей было покойно, хорошо: пусть они рядом — отец, братья и сестры, а все же они совсем не знают ее, именно потому что родные; можно радоваться, что они рядом, но притом хранить свою тайну.

И она подумала: неправда, что он спит у нас в доме. И еще чуть ли не с облегчением: нет, там его нет.

Но тут же испугалась и подумала: да, он там, в доме. И, уверившись в этом, вновь успокоилась, и теперь снова можно было пугаться и злиться, что он там, наверху. «Что же мне нужно, в конце концов? — вслух сказала она себе. — Сберечь бездумное детство, мечту, за которую можно цепляться, когда даст трещину взрослая жизнь? Это ли нужно мне?..»

Она пошла вдоль дома к серой, отливающей серебром, южной стене. Проглянул узкий луч лунного света. И тут она увидела, что над другим озером, «озером водяных лилий», как она его прозвала, вставал пар: в нем возникали стройные башни, спирали и минареты, мерещились копья и алебарды, воины в шлемах, целые кусты шлемов, волы и разные сказочные звери; эльфы порхали в воздухе, и шагали в тумане суровые старики, и рождались узоры, звуки и строчки стихов. Все рождалось из «озера водяных лилий», которое считалось коварным и куда ей запрещали ходить.

Она сошла к мягкому берегу, чувствуя, как увязают ноги, и подумала: «Я здесь одна, здесь нет никого, кроме меня».

Все было как прежде, как много лет назад — как тогда. Она отпрянула от воды, вышла на землю и, дрожа от холода в

тонкой ночной сорочке, присев в траву, стала громко читать стихи тех дней — стихи, над которыми после смеялась:

Дуй же ветер, и буря гряди,  
Мне не надо иного соседства.  
Ты любовью меня уведи  
Из тенет отзвеневшего детства!..

Она помнила эти слова! Какими гордыми, дерзкими казались они ей, будто вызов всем силам земным. Когда такие слова бесстрашно бросают в ночь, всякое может случиться!

«Но все переменилось,— подумала она,— все здесь не так, как осталось у меня в памяти. И одиночество мое мнимое, и упиваюсь я им потому, что я не одна».

И сразу же вслед за этим: «С тех пор минуло тринадцать лет. Понятно, что все изменилось».

Она застонала от холода и решила: «Надо идти в дом».

А сама все сидела в траве и думала: «Господи, у меня же есть он!»

Она быстро зашагала к дому, а все же то и дело останавливалась и, глядя на серебристо-серую стену, размышляла: «Дом вовсе не красный, а серый. Да... но тогда я была несчастлива, уж что верно, то верно».

Она побежала к дому, вне себя от страха: а вдруг его там уже нет? Она не станет его будить, ей бы только взглянуть, как он спит. Хорошо бы он спал; надоело, что он вечно ее сторожит, угадывает каждый ее шаг.

Она бежала к дому, мокрый подол сорочки хлестал ее по ногам, и в свете луны он вышел ей навстречу с веранды; он был в синей пижаме, и она даже не сразу его узнала, потому что никогда прежде не видела его в таком наряде — сокровеннее наготы.

— Хорошо, что ты вернулась,— сказал он, привлекая ее к себе.

Она стояла, дрожа, прижимаясь к нему в свете звезд, чувствуя, как его тепло медленно вливается в ее тело и вылепляет ее.

— Но откуда ты знал, что я?.. ты же спал. и тогда я пошла...

— Я не знал,— ответил он,— я догадался...

— Вечно ты обо всем догадываешься. А сейчас?

— А сейчас я догадался, что девушка, которую я хорошо знаю, размечталась о своем детстве и вновь превратилась в девочку, которую мне знать не довелось,— сказал он.— Ты озябла. Пойдем!

— Нет, нет!— вскричала она, дрожа от холода.— Угадывай дальше! Расскажи, что еще ты угадал!

— Девушка посмотрела на своего спящего друга, и он показался ей вдруг чужим. Потому что она уже спешила к своим владениям и хотела навестить их одна, без него.

— Еще! Еще!— простонала она. Теперь ее попросту бил озноб. Лишь потому, что его тепло теперь заполнило ее всю.

— Девушка даже не стала надевать туфли, а вышла из дома босая.

— Дальше!— прошептала она.— И куда же она пошла?

— Она сошла вниз по крутой тропинке к папоротникам, куда я не пустил ее утром. Она сошла туда, чтобы испытать страх.

— И было ей страшно? Скажи — было?

— Наверно, было немножко страшно, как она того и желала. А потом она повернулась спиной к воде и лицом к дому, смотрела на него и думала, как покойно ей было когда-то оттого, что люди, жившие в этом доме, не ведали о ее тайных прогулках. И потому ей было покойно — тогда.

Сквозь тонкую ткань она ощущала все его тело.

— Дальше!— прошептала она.— О чем еще догадался ты? Что подумал?

— Я догадался, что она... вдруг утратила это чувство покоя. Потому что мужчина, который теперь спал в доме...

— Дальше! Дальше!

— Мужчина этот был чужим в ее детстве. И он слишком хорошо знал ее и угадывал каждый ее шаг. И это почудилось ей посягательством на ее душу — словно у нее уже не осталось ничего своего.

Она зашептала:

— И куда же она пошла? Что еще угадал ты, милый?

— Я угадал, что она спустилась к «озеру водяных лилий» и там ее одолела тоска...

— О чем затосковала она? Говори!

— Право, не знаю. Наверно, ей хотелось, чтобы все было в точности как тогда. Не знаю.

— И что же? Вышло все, как ей хотелось?

Он мягко отстранил ее от себя, нарушив нестерпимую близость тел; казалось, только спокойствие может приглушить ее страх.

— Все уже не могло быть как прежде,— сказал он.— Деревья и те выросли.

— Да! Говори еще!

— Деревья выросли. А на воде не было водяных лилий. Короче, прошло тринадцать лет. Из озера уже не слышались ей прежние слова.

— Какие слова? Из озера?

— Такие слова, какие слышатся человеку в юности и потом кажутся ему нелепыми, а позднее, спустя много лет, они вновь обретают смысл. Когда все уже переменится.

— И как же, переменилось все?— спросила она, вздрагивая от волнения.

— Все переменилось. Может, это и разочаровало ее: ей так хотелось, чтобы все было как прежде.

Теперь она совсем согрелась. Ночь была тихая-тихая. Отступив назад, она оглядела его в свете луны.

— Ты непременно хочешь остаться в этом нелепом наряде?— спросила она и рассмеялась.

— Нет,— сказал он и сбросил его на траву.— А ты?

— И я нет,— сказала она.— Теперь не надо больше угадывать.

Прогулки их становились раз от разу длиннее. Стояли светлые сентябрьские дни с отблеском лета в воде и на листьях,



но с осенней терпкостью запахов, которая говорила: *сейчас* или *никогда*.

Они взбирались на горы, и он восхищался, глядя, как уверенно она ставит ноги, ни разу не оступясь. И он восхищался тем, что она никогда не вздыхала: «Ах, какой прекрасный отсюда вид!» Не знала она и названий озер, открывавшихся им с горных вершин, и не знала, на какой высоте от уровня моря расположены дальние горы и как они называются. Однажды, еще в городе, стараясь объяснить ему, где находится ее дом, она так рассказала об этом:

— Сначала надо подняться к хутору, он лежит на пути к нашей усадьбе, и мы там берем молоко. Потом мы взбираемся в гору, а затем спускаемся вниз: здесь холм, почти совсем пологий, и луг, весь в самых разных цветах. Вот там-то и стоит наш дом.

И он ответил ей:

— Какое подробное описание! Теперь мне уже не понадобится ни компас, ни карта...

Но тогда она лишь смерила его строгим взглядом. Она не терпела шуток над своим родным гнездом.

— Я сама отыщу дом,— сказала она. И снова рассказывала и рассказывала ему про детство; как выходила из дома по ночам и бегала к тем двум озерцам: одно было узкое, длинное, а другое — почти совсем круглое и полное водяных лилий; ей казалось, будто она одна на белом свете, и думать так было покойно, легко, оттого что близкие ее спали в доме. И теперь ей легко было рассказывать ему об этом.

И тогда он тоже погасил улыбку и тихо сказал:

— Я хочу познакомиться с девочкой, что когда-то жила в этом доме. Я пойду с тобой туда и помогу вызвать ее из детства.

Спускаясь к дому, они отходили друг от друга все дальше и дальше. Это была игра, и каждый знал, что и другой играет в нее: будто они пришли сюда не вдвоем, а вот-вот случайно встретятся где-то в лесу или на лугу, окаймленном белыми стволами

деревьев. Будто они никогда прежде не видались, но, встретившись, в озарении поняли, что отныне всегда будут вместе.

Она намного обогнала его, и он знал: когда они стояли на вершине горы и смотрели сверху на дом, она вспомнила, как описывала ему там, в городе, здешний край и что он ответил ей. И когда он вышел на луг в хороводе белых стволов, она сама уже шла ему навстречу, словно просто гуляла в лесу и случайно столкнулась с ним. И оттого, что он принял ее игру, она преисполнилась радости и сказала:

— Теперь ты вызвал меня из детства, теперь я твоя.

Он хотел поблагодарить ее, но у него не нашлось слов. Может, он заметил, что то был с ее стороны лишь порыв... девочка из прошлого, которую он так ждал, еще не вернулась к ним. Но сладостная тревога ширилась и росла в душе предощущением высшего накала чувств.

— И потому мы сейчас уедем отсюда,— сказала она.

— Уедем?!

— Потому что теперь это наш дом,— перебила его она.— Теперь это всего лишь наш дом, по которому мы отныне можем скучать...

Сейчас он уже не мог отгадать ее мысли, не был уверен, что в истоке их — радость.

— Ты чем-то огорчена?— спросил он.— Мы ведь приехали сюда побыть вдвоем и воскресить твое детство.

— Спасибо тебе за все,— сказала она.— Но теперь ты и детство мое взял себе.

В ее голосе сквозила печаль. Он по-прежнему не мог ее понять. Постоял, огляделся. Тропинка, что вилась впереди, вдруг показалась ему чужой. Между стволами деревьев просвечивал дом, серой, тусклой стеной глядел он на них. Теперь он снова увидел его таким, как в тот первый вечер, когда они сюда пришли,— бревенчатый дом, ничем не примечательнее других, просто иной, чем он его себе представлял. Все эти недели он был их домом. Теперь же он вновь превратился в обыкновенный дом, каких много в лесу. Сейчас они вдвоем шагали к нему. Игра кончилась.

Вернувшись, они начали убирать комнату. Она отнесла постельное белье на балку под крышей: спокойно, не боясь оступиться, сбегала на чердак. Он опорожнил ведра и расставил их кверху дном, развесил на стенах по местам кастрюли.

Когда пришло время закрывать ставни, он сказал:

— Выйди и придержи болты, а я завинчу их изнутри.

— Лучше выйди ты и придержи,— сказала она.— Мне до них не достать.

Он отыскал болты и вышел, не взглянув на нее. Стоя у окна, она стала завинчивать болты. Темнота в доме возникала пластами, по мере того как одна за другой закрывались ставни. Она оглядела комнату — все ли в порядке. Он еще раньше вынес рюкзаки на веранду. На столе стояла пустая бутылка — бутылку она убрала в угол. Тут закрыла окно последняя ставня, и он вставил болт. Она уже приготовила гайку и, стоя в потемках, завинтила ее до отказа. Чем темней делалось в комнате, тем привычнее становилась она, «совсем как в былые дни». Будто по-прежнему обитала в ней зачарованная принцесса, спящая красавица, которую ни одному принцу до сих пор не удалось избавить от чар. Боль в висках от невыплаканных слез стала невыносимой.

Она подумала: «Если он отгадает мое желание, он сейчас не окликнет меня, не спросит, готова ли я идти. Тогда, в детстве, меня окликали — папа окликал».

Но из-за окна не доносилось ни звука. Вот только он почему-то не отпускал болт.

Она подумала: «А если и теперь он отгадает, чего я хочу, он не войдет сюда помочь мне собраться, а даст мне побыть в потемках одной».

Она услышала его шаги — он как раз выходил из-за дома. Потом она поняла, что он остановился, и вся напряглась как струна. Подумала: «Если он и сейчас отгадает мои желания, он даст мне побыть здесь немного одной. А если и после поймет, что у меня на душе, то ни о чем не станет меня спрашивать. Просто мы уйдем отсюда вдвоем и пойдем молча вверх по тропинке к вершине горы, откуда все видно окрест как на ладони,

и мы оба обернемся разом и взглянем на дом оттуда, с вершины горы, прежде чем спустимся к хутору. И если и тут он поймет меня, я навеки буду принадлежать ему и люблю его так сильно, как никто еще никогда никого не любил».

Она тихо стояла в потемках, лишь тронула кончиками пальцев темные стекла окна, и вспомнила вдруг, что нашла крылатые гайки на карнизе вверху. Значит, он угадал в тот день, когда они впервые сюда пришли,— угадал, где они лежат. И сейчас он стоял, не шевелясь, за порогом — просто ждал ее.

Она вышла на веранду. Он поднялся по ступенькам в дом, лишь мельком взглянув на нее, помог ей надеть рюкзак — тот, что поменьше. Она достала ключи и заперла дом. Молча шли они лугом; она видела, что он строго держится тропки, не позволяя себе наступить на траву, где прежде росли цветы, и все в ней пело от благодарного чувства к нему.

Потом они зашагали в гору, никто из них по-прежнему не произнес ни слова, и она чувствовала, как нарастает в ней волнение и быстрее струится по жилам кровь. Но притом на душе было так покойно, легко, что казалось, нет конца счастью, лишь бы оно не разбилось...

Они поднялись по гребню горы к вершине, туда, откуда все видно окрест как на ладони, и волнение бурлило в ней пузырьками, которые словно взрывались где-то под кожей. Только бы он ничего не сказал! Вот *сейчас*...

Он повернулся к ней в тот самый миг, когда и ее толкнуло к нему. Они стояли рядом и смотрели вниз, на дом, вскинув голову, она увидела легкую улыбку на его лице; он вспомнил, как она в городе описывала ему этот дом.

— Да!— прошептала она. Прямо на него смотрели сияющие глаза.— Теперь дом наш!

— Наш?— растерянно переспросил он.— Именно сейчас — наш?

— Да, сейчас! Отныне и вовеки. И никого — никого другого там больше нет!

Он стоял, смущенно уронив руки.

— Ничего я теперь не понимаю,— сказал он, погрузив взгляд в сияющую бездну любимых глаз.

— А тебе и незачем понимать,— сказала она.— Просто я что-то загадала. Не все же тебе надо знать...

Оба вдруг посмотрели вниз на серебристо-серый дом, на пар, тонкой пеленой поднимающийся от воды.

— Теперь ты видишь, какого он цвета!— крикнула она ему, хоть он и был рядом.

— Дом красный!— не задумываясь отвечал он.

Она вся рванулась к нему, и казалось, у нее совсем нет тела — только глаза с их открытым, радостным взглядом.

— Нет у меня теперь больше детства!

# Жимолость

Весь этот долгий летний вечер мальчик сидел в саду и ждал: что-то должно случиться. Он сидел под смородинным кустом, с которого давно уже перестал рвать ягоды. У него за спиной ветер одиноко шелестел в верхушках высоких лип — там, вверху, раздолье южному бризу,— но древним кронам деревьев чужда суета, неспешно клонятся они в одну сторону и столь же медленно разгибаются в ожидании новой ласки теплого ветерка.

Здесь, в саду, еще недвижны травы, на белом клевере виснут шмели. Перед мальчиком — дом, белый, большой, полный тайн. Тайны притекают, когда свет уже гложет и серо-белая стена дома начинает синеть. Тайны прокрадываются в сад из окон, блестящих, будто озера; сползаются в него с черных полированных черепиц на крыше, за день накалившихся настолько, что воздух над фронтоном дрожит. Но больше всего тайн слетает с жимолости: когда воздух свежеет, а солнце вот-вот растает, растопится в молоке, жимолость наполняет сад печальным своим ароматом.

В этот час в доме отдыхают после обеда. В верхнем этаже задергивают занавески. Но старшие дети вихрем сбегают с лестниц с купальниками в руках, кричат, перекликаются, будто чайки над косяком сельди. Стоит таинственный час, когда взрослые отдыхают в доме, потому что у них отпуск, а с берега выходят в море рыбаки, ставят лодку к лодке в глуби залива, и голоса их разносятся далеко окрест; сверкая золотистым загаром, сбегают с гор дети, подростки и бросаются в море, плывут саженьками к небосклону, похожие на подводные лодки, на полкорпуса погруженные в воду, а после животом кверху лежат в теплой вечерней воде, будто дохлая рыба.

Мальчик сидит на траве и ждет. Никто, кроме него, не знает этого часа. Будь по-другому, они не стали бы сейчас спать, рыбачить, купаться, кричать. Они не знают, что листья смородины медленно клонятся книзу, навстречу прохладе, которая не замедлит прийти; не видят, как желтые гусеницы ползут по листьям и вдруг замирают, не сразу отваживаясь перебраться на тонкую ребристую ветку. Они не слышат тишины, которая сходит на землю перед тем таинственным часом, не ведают блаженного озноба — смеси страха и ожидания, охватывающего человека, который сидит в траве под кустом и ждет, чтобы всюду воцарился покой и наконец началось то, что должно начаться.

Ветер уже не шелестит в кронах лип, только шепчет. И солнечный свет теперь лежит только на них, только вверху, уже не внизу на взгорке.

Тут-то и совершается перемена, прежде всего в запахах: зелень благоухает зеленью, сухой краской пахнет от дома, из подвала тянет смолой, свежей землей — из-под смородинного куста, мочевиной — от муравьев на пне, похожем на крышку от тухлявого деревянного столика.

Но сильнее всего пахнет жимолость, что в щедром великолепии взбирается по стене; верхние листья ее изогнуты, будто лепестки венецианского стекла на лампе в гостиной, а сладкий кисловатый аромат исподволь проникает в душу и однажды — давным-давно — породил слово, которое вслух произнес для себя мальчик: «грусть».

Тихо. Мальчик выходит из-под смородинного куста, из царства запахов прохладной зелени и окунается в аромат жимолости, струящийся от стены. Густой терпкий запах засасывает, затягивает, как сеть. Да, должно быть, так чувствует себя рыба, когда вокруг стягивается невод, хоть петли еще не сдавили голову и рыба не знает, что ей уже не уйти.

Жимолость вьется вдоль решетки из зеленых жердей, покрывающей стену дома. Раз в два года решетку наращивают вверху, чтобы жимолость могла когда-нибудь добраться по стенке до самой крыши. Теперь до крыши уже осталось совсем немного.

Пока что отростки доползли до водосточной трубы под верандой на втором этаже. Туда протянулась самая длинная жердь во всей решетке. Над ней уже поднялись несколько одиноких цветков, растерянно глядят они вверх, где для них больше нет никакой опоры.

Сегодня мальчик решил забраться туда, на самый верх. Повиснуть на кишке водосточной трубы под верандой, постараться закинуть на нее ногу, подтянуться и влезть на веранду, где распахнута дверь в спальню родителей. Подождать, пока они встанут после своего загадочного дневного отдыха и спустятся вниз. Тогда он тоже прокрадется вниз вслед за ними. И это будет его подвиг.

Все это запрещено по той простой причине, что шпалера, по которой вьется жимолость, слишком хрупка и никак не рассчитана на то, чтобы по ней лазали. Сколько уже раз мальчика ловили за этим нелепым занятием. Как только не пытались образумить его: сердились, угрожали, разъясняли, что это опасно, сулили награду или, напротив, порку, грозили сорвать со стены всю жимолость, если он не прекратит...

Он вовсе не какой-нибудь отчаянный сорванец, даже не смельчак. Сегодня мальчишки решили нырять с самого высокого горного уступа на берегу. И он, робея, не пошел с ними к морю. Он даже и с нижнего уступа не любит нырять — разве только заставят, но с верхнего нипочем не нырнет. Ни за что на свете. У него кружится голова, и он ничего с этим не может поделать. Стыд, позор, но он ничего не может с этим поделать. Он бы что угодно отдал, только бы голова не кружилась, уж лучше на экзамене провалиться; он пытался втайне условиться с господом богом: согласен, мол, провалиться, только бы голова не кружилась. Но господь бог не согласился на сделку.

Когда зимой заболела сестренка, мальчику пришлось выдержать тяжкую внутреннюю борьбу; одно из двух: пусть сестренка быстро поправится, а он зато будет вечно бояться высоты, или же пусть сестренка проболит еще неделю, а потом, как знать, может, даже... умрет? Зато он избавился бы от своей слабости...



Мальчик быстро одолел первые четыре жерди решетки и сразу же посмотрел вниз. Пока что поднялся он невысоко, ниже даже собственного роста. Он одолел еще четыре ступеньки и добрался до середины окна в первом этаже. Когда он посмотрел вниз, его охватило легкое блаженное чувство. Жимолость отовсюду льнула, ласкалась к нему, опьяняя легким ощущением отрешенности. Начало задуманному было положено. Все шло своим чередом, как он хотел. Еще на четыре ступеньки поднялся он и очутился над высоким окном первого этажа. Здесь жимолость разрослась так густо, что он с трудом нащупывал место, куда бы поставить ногу и притом не наступить на цветы и листья. Скоро он уже был на середине стены, между первым и вторым этажами.

Сухо треснула жердочка, на которой он стоял, сломалась под тяжестью его тела. Он слегка подался в сторону и оказался у веранды, на самом высоком участке решетки.

Осилив еще шесть ступенек, он руками нащупал жерди, которые надстроили лишь минувшей весной. Эти должны быть покрепче, не такие ломкие. А уж если сломаются у него под ногами, он повиснет на руках. Он взглянул вниз, голова сладко кружилась. Внизу тянулись волнистые грядки ромашек, через которые он перешагнул, чтобы не оставить следов. Стена под жимолостью дышала прохладой, весь день ее укрывала зелень. И цветки были прохладные и будто тоже шагали вверх, а он все лез, выше и выше. Из листьев вылетали мошки, они облепили его лицо и ноги, и он не мог их отогнать. Запах жимолости окутал его, струи запахов словно слились в волну, которая подняла его, захлестнула и захватила в плен. Снова представилась ему рыба в неводе: обманом завлеченная в ловушку, она вдруг чувствует, что вокруг смыкается сеть, и пытается вырваться наружу. Но жабры зацепляются за петли, и рыбе уже не уйти. Должно быть, все происходит именно так.

Зеленые квадраты жердей на стене, под ногами мальчика и над головой, над руками, вцепившимися в деревянные планки, вдруг обратились в такие же точно сети. Разве может он разжать руки? Нет, он в западне. Он пленник жимолости, пленник

запаха, который держит его и от которого нет сил бежать. Сладостное чувство взметнулось в нем, сквозь кожу проникло в тело: он ощущал запах жимолости руками, коленями, животом. Он обонял его теперь всем телом, аромат сладостно оседал под кожей, в мышцах, сводил их блаженной судорогой. Был страх, и было преодоление страха, неуловимый запах и сладостная его ласка, кружение головы, и ожидание падения, и уверенность, что его поднимут с земли и отнесут в дом. Казалось, стоит лишь откинуться на волну запахов, темных запахов жимолости, и волна подхватит его и отнесет к верхушкам высоких лип, где всегда шелестит ветер. Со всех сторон его обступала тайна.

Под ногами у него расстился сад, а вдали были дома, и оттого, что он, не отрываясь, смотрел на крышу одного, совсем низкого дома, в нем крепло чувство безопасности взлета. Высокие липы стали спутниками его и друзьями, а малые деревья — слугами. И сам он чувствовал себя победителем на грани поражения, которого втайне желал.

Тут в саду слышались голоса, а из дома на них отзывались другие. Чары развеялись.

Мальчик стоит, прижавшись к стене, и прислушивается. Это о нем перекликаются голоса. Вот голос из дома переместился. Он звучит теперь из окна: «Нет, мальчика в доме нет!» «И у моря его не было!» — звонко отзываются мальчишеские голоса — голоса тех, кто ходил на море купаться.

Мальчик слышит: шаги внизу отдалились. Проворно, как обезьяна, одолевает он еще четыре ступеньки, все время забирая вбок. Теперь он уже под самой водосточной трубой в надежде спастись отчаянным прыжком на карниз под верандой, чтобы затем влезть на нее и оттуда пробраться в комнаты.

Кто-то вышел на веранду — тот самый низкий голос, которого мальчик страшился больше всего на свете. И мальчик вжался в жимолость, в самую пышную ее чащу, и верхние, свободно парящие ветви скрыли его. Низкий голос ушел. И тут же внизу зазвенел другой голос, высокий и светлый, тот самый, которого он так стыдится, когда что-нибудь натворит. И маль-

чик, рывком выпростав из-под себя ветви, снова втиснулся в зелень чащи. И замер, застыл на деревянных жердях у верхнего этажа. Но тут к его носу протянулся цветок жимолости. Тычинки стоят в розовой гондоле цветка так близко к глазам мальчика, что вырастают в размерах, и кажется, будто это люди в лодке встали по стойке «смирно». Запах цветов уже не струится по рукам и ногам, не растекается сладким ядом под кожей. Мальчик вдыхает его через нос, и аромат совершенно оглушает его, он почти не помнит, где он, лишь изредка что-то всплывает в уме. Жерди больно врезаются в кожу сквозь легкие туфли, врезаются в руки над головой. Но мальчик уже не в силах сдвинуться с места.

Он знал, что взгляды стоящих внизу прикованы к стене дома, к месту, где он скрывался, и в этот миг произошло превращение. Мальчик стал жимолостью.

Так нестерпимо влекло его слиться с жимолостью, так оглушителен был запах цветов, который ядом вливался в кровь и нес с собой уже не «грусть», а «угрозу», что хотелось, наконец, повернуть голову, потому что не мог он снести тревогу и ужас, звучавшие в светлом высоком голосе, и то, что вскоре должно случиться. Он не понимал, почему он торчит там, вверху, как какая-нибудь муха или пчела, и зачем все время лезет и лезет вверх. Но и краткий миг изумления тоже прошел, и он снова стал жимолостью, на этот раз до конца, потому что боль в руках и ногах притупилась. Даже усталость и та прошла, и казалось, он вечно мог так стоять, вцепившись в легкие планки, и будто всю свою жизнь только так и стоял. Запах жимолости опьянил его, все сущее уплыло куда-то и вскоре пропало совсем. Даже угроза и та теперь не страшила его. Просто он попал в сеть, сеть жимолости, и она взяла его в плен. И ему никогда не вырваться из нее.

Высокий светлый голос в саду затих. Может, она ушла, а может, просто все уже отошло — вся здешняя часть мира?..

А может, и не было никогда ничего? Может, сам он был жимолостью всегда и только порой, в редкий миг, ему вдруг почти удавалось стать человеком?

Переменился свет. Синели, как всегда синеют в сумерках, стены дома. Солнце золотило верхушки высоких лип, и они тихо вздрагивали под легким ветерком, который внизу, на взгорке, даже неощутим. Там, внизу, все скрылись в доме. Они больше уже не ищут его в саду. «Слава богу, хорошо, что мальчик не в жимолости!» Грядки ромашек стиснули дом точно выверенными дугами тисков. В доме шум голосов — старых и молодых. По радио объявляют погоду на завтра. С моря летят крики чаек.

Мальчик висит в сети деревянной решетки. Ноги, соскользнув за жерди до самых коленок, расцарапаны в кровь, застряли между стеной и решеткой. Руки мертвой хваткой сомкнулись чуть поверх головы, разжать их он не в силах. Сведенное судорогой, тело его повисло спиной к саду, мальчик распят между четырьмя жердями. К ноздрям, оглушая его своим одуряющим запахом, прилипла жимолость. Мальчику больно, он рад бы вырваться из плена, но силы его иссякли. Сеть стянулась вокруг пойманной рыбы, все пути отныне закрыты. Мальчик сознает, где он и что с ним, но понять, что ему делать, не может. А времени он и вовсе счет потерял. Заморосил дождь. Листья жимолости шелестят под дождем, а цветы посылают в летнюю ночь новые волны запахов.

Кто-то под ним отворил окно, сбоку распахнулось второе. Низкий голос сказал, что вот пошел дождь, и еще: «Чувствуешь, как жимолость благоухает?»

Светлый высокий голос в комнате тревожен: «Не пойму, куда подевался мальчик, а теперь еще этот дождь!..»

И чуть погодя: «Пожалуйста, закрой окно! Запах жимолости дурманит голову!»

Кругом потоки дождя. Вода. А он — рыба, дурманом жимолости загнанная в сеть. Неведомое прежде чувство великого одиночества и покоя охватило его. Он догадывался, что одиночество незримым кольцом окружает всех, но люди стараются его не замечать и притворяются, будто его нет, боясь, что никто не придет к ним на помощь. И никто не придет на помощь мальчику, распятому на высокой каменной стене дома, ведь все его близкие давно уже скрылись в комнатах. И мальчик знает те-

перь, чем пахнет жимолость — не грустью, не угрозой, а одиночеством. То же, должно быть, чувствует муха, томясь в паутине, пока не оставит борьбу. Все, должно быть, чувствуют то же самое, когда вокруг шеи стягивается петля.

Всё. Теряя последние силы, мальчик осознает: он уже больше не жимолость. Не рыба. Он — мир. Подобно миру, изведаль он бесконечность и собственную немощь. И новый опыт этот лишь венец того, что он втайне знал всегда: за пьянящей истомой, за сладостным ужасом тела приходит тоска без края, одиночество духа.

И в миг, когда это открылось ему, вышел месяц. Дождь перестал. Лунный свет посеребрил кроны высоких лип, зеленовато-серебряной дымкой окутал в саду деревья. Мальчик в изнеможении откинул голову и с минуту глядел прямо в небо, в бледное небо с двумя булабочными головками звезд. И понял, как одинок, незащищен человек в океане Вселенной...

Опять низкий голос с веранды, прямо над ним: «Не понимаю, куда подевался мальчик!» Раздражение и страх. Взгляд растерянно рыщет по мокрым лужайкам, отливающим серебром в свете луны.

И вот, наконец, взгляд упал прямо в гущу жимолости. Крик ужаса.

Мигом позже — опять голоса внизу. К стене прислоняют лестницу. Голоса совсем рядом. Голоса вверху и вокруг. И свежий воздух, воздух без запахов. Вопросы и осторожный шепот: тсс, тсс...

Медленно возвращается память; сознание, еще недавно охватывавшее мировой океан, мелеет, и скоро в нем остается лишь жимолость, рыба, вода, наконец — только мальчик, который, очнувшись от лихорадки, вновь постигает свое одиночество.

# Цыпленок

Рейдар и Коре ели в гостях у Оливера трондхеймский суп. Это молочное варево не жаловали даже сами хозяева. Необходимость есть раз в неделю у Бергов трондхеймский суп мальчишки считали в душе истинным наказанием. На самой середине тарелки плавала ягода, которую обычно приберегали под конец, на закуску. И опрометчиво поступил бы тот, кто решился бы сразу выудить ее из супа и съесть. Тогда перед ним оставался сплошной белый круг тарелки, который лишь уныло рос вширь и вглубь по мере того, как гость опустошал тарелку, отважно сражаясь с супом.

Требовалась незаурядная смелость, чтобы пригласить к себе друзей на такой невкусный обед, но смелости Оливеру Бергу было не занимать, и за это им восхищались мальчишки. Конечно, от обеда можно бы и отказаться, но тут был риск обидеть приятеля, да и, признаться, всегда любопытно лишний раз заглянуть в чужой дом. Сказать по правде, Оливер любил зазывать к себе приятелей всякий раз, когда у него приключалась в школе какая-либо неприятность: его отца, тихого, робкого человека, изредка обуревали приступы праведного гнева, однако отец не решался браниться при чужих мальчиках, для этого он был слишком робок. Лишь нет-нет да обронит намек, чтобы хоть как-то излить горечь, скопившуюся у него в душе из-за вечных передряг Оливера в школе с той самой поры, когда оказалось, что за два первых года сын едва выучился читать и писать,— настолько отстал он от других в умственной школьной гимнастике; должно быть, эта история нанесла отцовскому тщеславию первый жестокий удар. Да и сейчас Оливер мог удивить чем

угодно: ему ничего не стоило, например, сказать, будто четырежды девять равняется двадцати восьми. В сплошной стене притворного тупоумия, которой мальчик ограждал свою духовную жизнь от школьной науки, трудно было бы отыскать хоть единую брешь.

Чтобы съесть суп, обычно требуется раз пятнадцать зачерпнуть ложкой, но тарелку трондхеймского супа меньше чем раз за тридцать не вычерпаешь. Причина, известно, все та же. Когда тебе к тому же предлагают добавки, а ты знаешь, что отказ — самый простой выход, казалось бы, — немислим, ведь от этого подростку может не поздоровиться, надо ли удивляться, что гости ели трондхеймский суп верных двадцать минут, опасаясь, не последует ли за этим несъедобным блюдом что-нибудь еще менее съедобное. Но зато цыпленок без костей, которого подавали на второе, всякий раз оказывался необычайно вкусным.

Оливер отнюдь не принадлежал к числу изощренных нарушителей школьного распорядка, просто он непреклонно следовал своему правилу — избегать всех занятий, кроме уроков труда. Вообще же он был парень надежный — спокойная сила сразу открыла ему доступ в тайное братство учеников. Большие серые руки с грубой, шершавой кожей никогда не были вполне чистыми, но лишь изредка настолько грязными, что учителю приходилось выгонять его в коридор, чтобы он вымыл их в умывальнике, а это считалось одним из самых унижительных наказаний в школе: оно словно бы бросало тень на всю семью ученика. Впрочем, чаще всего ему удавалось избегать строгих наказаний; ни учителя, ни мальчишки его не трогали, уважая еще и за молчаливость, которая всегда представляется приметой скрытых доблестей.

— А что, Коре и Рейдар тоже участвовали в этой затее? — спросил папаша Берг, уныло оглядывая белый круг тарелки и опасно измеряя ложкой пучину супа.

— Гуннар участвовал! — нехотя ответил Оливер, отнюдь не уверенный, что участие соученика зачтется ему самому как смягчающее обстоятельство.

— А я в тот день не был в школе!— поспешно объявил Рейдар, как бы желая сказать: уж он-то наверняка участвовал бы в проделке, коли в тот день пришел бы в школу!

— А ты, Коре?— продолжал Берг.

— Нет,— угрюмо ответил Коре. Ответ его прозвучал как приговор Оливеру. В душу его закралось вдруг смутное чувство, что, когда определенным образом ведется дело, защита всегда заведомо обречена на провал.— Я в этом месяце и так уже много чего натворил!— добавил он, чтобы хоть как-то загладить свое предательство.

Оливер уныло поднял глаза от тарелки. Он хорошо знал отца и понимал, что тот, в сущности, не любитель таких допросов, но школа сама навязывала их своей системой беспрестанных замечаний и жалоб, вынуждая родителей действовать с ней заодно против мальчиков. Он знал, что отец утомлен долгим рабочим днем за прилавком в трикотажном магазине братьев Сёренсен, где одиннадцать лет гнул спину на фирму, пока не сподобился стать заведующим галантерейным отделом. Оливер догадывался, что отец был бы рад улыбнуться и, сбросив с себя бремя забот, вздохнуть, наконец, полной грудью. Мальчик любил отца, и в чем-то они были даже близки, во всяком случае, такую близость не так часто встретишь в других семьях, хотя бы тех, что жили по соседству. Когда они вдвоем часами возились с конструктором на полу, то работали оба запоем, не замечая времени, и отец радовался, что сын унаследовал его страсть. Тем более что во всем прочем живость отца, ныне слегка приглушенную усталостью, трудно было бы уловить в этом крупном, грузном подростке, с глазами ярчайшей синевы, всегда полу-прикрытыми веками.

— Так кто же еще был с вами?— спросил отец.

— Я же сказал, Гуннар,— запинаясь, ответил Оливер.

— Гуннара ты уже назвал!

— А потом еще...— в мозгу Оливера будто ворочались тяжелые жернова. Быстрый маленький Рейдар давно уже вспомнил всех, кто был замешан в том деле, но мысли Оливера, казалось, заперты в глухом тайнике, откуда их надо извлечь звено за зве-



ном... («Мальчик просто не хочет учиться»,— говорил учитель немецкого языка.)— Да, еще, значит, Юхан..— с трудом выдал из себя Оливер.

Мальчики прыснули. Они вспомнили благовоспитанного чистюлю Юхана, которого они хитростью подбили запереть в уборной учителя географии Шеннинга, и Юхан так испугался, что, уступив давней своей слабости, пустил струю, которая потекла с его ног на каменный пол у двери помещения, где он мог бы облегчиться на вполне законном основании. Да, постыдная была слабость у изнеженного барчука Юхана.

— Тут нет ничего смешного, мальчики!— сказала фру Берг.— Ах, вот как, значит, Юхан тоже участвовал в проказе. Что же он сделал?

— Он стоял на стреме,— ответил Оливер. Он теперь не отводил тяжелого взгляда от ягоды, которая торчала из супа, как спасительный утес в час потопа.

— А еще кто там был?— допытывался Берг. Его допрос не отличался изобретательностью: хоть он и не признался бы в этом, вся история мало его затрагивала.

Оливер напряженно начал вспоминать, он размеренно покачивал головой, как обычно при чтении псалмов. Однажды ему велели вместо урока двадцать раз переписать строчку из псалма: «Он воскрес — и повержен порок! Наш господь — всепрощающий бог». На другой день, когда его попросили прочитать псалом наизусть, Оливер невозмутимо начал: «Он воскрес, вот вам бог, вот порог...» «Ты понимаешь, что говоришь?»— почти мягко спросил его пастор Экхоф. «Нет, спасибо»,— ответил Оливер. Он часто говорил такое из чистой рассеянности. А однажды, подав директору школы указку, вместо «пожалуйста» сказал ему «доброй ночи».

— Кто еще?

— Гуннар... и Юхан,— отвечал Оливер, лихорадочно силясь вспомнить всю эту историю. Всего ведь несколько дней назад она приключилась. Господи, вот уж если не повезет, так...— Да, еще Пер,— вдруг сказал Оливер.

— Пер? Неужели Пер тоже был с вами?— Похоже, папаша Берг теперь знал, как поскорей разделаться с неприятностью. Он так работал ложкой, что только брызги летели.

— Нипочем не поверю, что Пер участвовал в таком деле!— сказала фру Берг. Она была родом с юга, и в семье держалась словно бы особняком. Мальчики не любили ее за привычку брезгливо кривить рот.

— Да... то есть Пер пришел, отпер дверь и выпустил его!— тихо пояснил Оливер.

Берг мгновенно вскипел.

— Ты что, издеваешься надо мной?— закричал он и грозным жестом сдернул с себя салфетку.— Изволь отвечать, когда я тебя спрашиваю! Хотя... не все ли равно, кто еще участвовал в проделке? Все вы балбесы. Сам видишь, ни Коре, ни Рейдар не пошли на такое!..

Предатели понурили головы в невыразимой досаде. Рейдар в душе поклялся себе, что завтра же один запрет в уборной самого директора школы, надо лишь дождаться, когда директор туда войдет, лучше всего в самом начале большой перемены. Тогда папаша Берг уже не сможет злорадствовать.

— Вот только зачем вы это сделали?— взревел Берг. Он был в такой ярости, что у него прыгали губы. Струйка трондхеймского супа стекала изо рта на салфетку, которой он вновь повязал шею.— Зачем вы это сделали?

Наступила страшная, мертвящая тишина, потому что никто не ожидал такого вопроса и мальчики не знали, как на него ответить. Не дай бог, Берг узнает про все проказы — что тогда будет?.. Весь этот день Оливеру в школе не везло, просто чудовищно не везло. Он потому и поторопился сперва рассказать отцу о самом худшем, а уж потом хотел показать дневник, где на чистой странице справа, предназначавшейся для замечаний, была еще и другая серьезная жалоба, за другую провинность, которую Оливер допустил в то же утро.

— Папа спрашивает: зачем ты это сделал?— повторила фру Берг, особенно противно скривив губы. Все услышали вдруг, как в корзину, висевшую на веранде, влетела большая синица и

весело завозилась с кормом у самого окна. Таким мирным, прелестным казался этот зимний вечер, в смутной мгле таяли очертания улицы.

Оливер понимал, что проиграл битву. Давняя хитрость его — зазывать к себе приятелей, чтобы они защитили его от грозы, — на этот раз не удалась, к тому же родители успели привыкнуть к Рейдару и Коре. Теперь они уже не стеснялись мальчиков. А заведующий галантерейным отделом Берг, казалось, сбросил с себя всю усталость от долгого дня беготни между прилавками магазина. На его добром озабоченном лице вдруг проступило зловеще властное выражение — так глядели, должно быть, великие полководцы древности, зная, что их лазутчики успешно проникли за стены осажденного города, где теперь ведут свою губительную, разлагающую работу среди его обитателей. Мальчики оторопели: казалось, теперь все пропало. Дело приобрело неожиданный оборот, и атака велась с неожиданной мощью. Они понимали: теперь Бергу, чтобы оправдать свою ярость, ничего другого не остается, как узреть в проступке еще большую крамолу, чем прежде. А папаша, вынужденный оправдывать свои действия, — грозный противник.

— Почему ты молчишь, Оливер? — спросил Берг. И отодвинул тарелку. Величественный в своем гневе, он позволил себе пренебречь самой священной заповедью семейных будней: доедать обед без остатка.

— Почему? — переспросил Оливер, судорожно глотая суп.

— Да, почему? Сколько раз должен я спрашивать? Изволь отвечать на вопрос, а не повторять каждое мое слово!

Вопрос повис над столом. Будто пальма, распластался он над квадратом стола — сердцем семейного очага, над этим столом, впитавшим в себя столько тайной жути. Все отошло куда-то: война, скудный семейный бюджет, напрасные надежды на повышение по службе и прибавку жалованья, на снижение цен, на выигрыш в денежной лотерее. Отступили куда-то мечты о лесной поляне, о летнем отпуске в тихом, мирном домике, из открытых окон которого струился бы аромат свежее испеченного хлеба, о лодке, которая плещется у причала на волнах, разбегаю-

щихся от кораблей. Все это было прежде. Но теперь уже не было ничего.

Берг встал.

— Доешь суп,— приказал он. Мальчики набросились на остывший трондхеймский суп и стали поспешно его глотать, чтобы хоть чем-то угодить хозяину дома. Берг зашагал по комнате взад и вперед. Он вышагивал какой-то нарочитой походкой, и от этого его щуплая фигура зловеще преобразилась. Он шагал как сильный мужчина, а не как приказчик, привыкший ужом скользить между прилавками. Ах, тысячу, тысячу раз приходилось ему кланяться и говорить: «Нет, увы, дорогая фру, синей шерсти в три нити у нас нет». Сейчас же он был высоко вознесен над прилавками. Расхаживая по комнате взад и вперед, он вдруг зажег лампу в столовой — столь неожиданно, что яркий свет заставил мальчиков вздрогнуть.

Бледный, с каким-то посеревшим лицом, понутив голову, сидел за столом Оливер, тщетно пытаюсь доискаться: зачем же все-таки они заперли Шеннинга в уборной? А сам все глотал и глотал омерзительный суп. Сегодня еще трудней было его одолеть, чем всегда, суп никак не лез в горло: мешала встречная теплая струя, взметнувшаяся откуда-то из нутра. Сын вяло сопротивлялся наскокам отца, он никак не мог придумать ответа. Там, где требовалась находчивость, на Оливера лучше было не рассчитывать. На его месте Рейдар уж, верно, раз двадцать ответил бы на вопросы Берга.

И вдруг беда! Оливер припал к столу, и его вырвало прямо на скатерть.

Берг замер, потом начал переминаясь с ноги на ногу. Узкое лицо его побелело и преобразилось. Ласковое участие к сыну струилось теперь из больших печальных глаз с воспаленными веками, воспаленными оттого, что днями, годами напролет, в ярком свете ламп магазина приказчик вглядывался в товар, чтобы, к примеру, определить выделку и окраску пряжи. Да, случилась беда, но суть дела осталась прежней. В другое время Берг бросился бы к сыну с криком: «Что с тобой, милый, ты болен?»— и все бы засуетились, торопясь уложить мальчика в

постель, баловать его и нежить. Оливер был единственный ребенок в семье.

В другое время — но не теперь. Берг все еще не получил ответа на свой вопрос. Заложив руки за спину, он стал покачиваться на месте, убеждая себя самого, что совершенно спокоен. «Я люблю этого мальчика, — подумал он. — Я сделаю из него порядочного человека».

Фру Берг в ужасе вскочила, готовая ринуться на помощь Оливеру.

— Сядь! — крикнул ей Берг, и она послушно опустилась на стул. Упоенное сознание своей власти проступило на лице отца. Вот как он их всех в руки забрал! Вот как, оказывается, надо поступать!

Медленно, совсем медленно поднял Оливер голову от тарелки — лицо его было мертвенно бледно, изо рта сочилась зловонная жидкость. Мальчики крепились изо всех сил, стараясь удержать в желудках свою порцию трондхеймского супа. Растерянно сидели они за столом, с трудом подавляя рвоту. Рейдар сжал под столом кулаки, глаза его метали искры. Коре вяло хлебал суп, но был начеку, готовый вмешаться в дело при первом удобном поводе. Этого папашу Берга они привыкли считать беззлым. Мало того — они даже завидовали Оливеру, что у него такой добрый отец, ведь он покупал сыну в рассрочку все серии конструкторов. Но теперь мальчики его ненавидели. Когда Берг увидал лицо сына, по его лицу прошла дрожь. От природы он был человек незлобивый, мягкого нрава. Теперь он уже не упивался сознанием своей власти. Ему было жаль Оливера, и он даже не мог припомнить, чего ему, собственно, было надо от сына? Кому не случалось в юности напроказить?.. Не будь здесь этих чужих мальчишек, он охотно махнул бы рукой на педагогику и в знак примирения сел бы за стол, чтобы вместе со всеми полакомиться цыпленком, из которого жена всегда вынимала кости. Но теперь он должен был растянуть отступление, чтобы удержать хоть каплю той власти, которую столь неожиданно приобрел. Поэтому он все-таки спросил, уже более ровным тоном, просто для порядка:

— Ну, скажи, зачем ты это сделал?

Рейдар и Коре в ужасе отпрянули от стола. Никогда еще не видели они своего друга таким: чужое, искаженное гримасой лицо; рот сведен злобной судорогой; взгляд пылал стыдом и негодованием от обиды, долго копившейся в душе. Оливер встал из-за стола, и вслед за ним встали друзья. Резко отодвинув стул, он шагнул к портъере, висевшей у входа в комнату. Мальчики кинулись за ним. Втроем они напали на патруль, заступивший на стражу. Отец невольно отшатнулся от них, он одновременно и растерялся, и обрадовался. Но тут вдруг сын, рослый, грузный, сжав кулаки, пошел на него. Багровые губы дрожали на белом как мел лице. Сын простонал:

— Еще раз спросишь — убью!

Мать зарыдала, припав к столу, к разоренному столу — белые, полупустые тарелки, повсюду блевотина — в стаканах, хлебнице, в графине с водой. Мальчики даже не повернули к ней головы. Как верные бойцы, застыли они в двух шагах от своего командира, готовые ради него на все, если только снова услышат тот же злосчастный вопрос.

Но они его не услышали. Лицо Берга медленно, толчками, обмякало, оседало. Ужас сменился в его душе тихой грустью. Перед мальчиками стоял кроткий, усталый человек — стоял как воплощенное поражение, беспомощный в своей тревожной любви к сыну, который только что произнес страшные слова. Что угодно отдал бы отец, только бы не были сказаны эти слова. Что угодно отдал бы он, чтобы только вновь поладить с друзьями сына, которых уважал: даже сейчас, в этот миг, они дарили ему утешение и гордость — ведь за Оливера они готовы в огонь и в воду. В огонь и воду — за его сына, от которого он ждал слепого доверия и любви, такой же, какая переполняла его самого после долгих вечеров их совместной возни с конструктором: случалось, Берг в радостном воодушевлении заходил в спальню к жене и принимался весело мечтать о будущем, рассказывая ей про игрушечные дворцы и постройки — доказательство способностей сына, — постройки, которыми был уставлен весь пол в столовой и которые так жаль было разбирать,

не налюбовавшись на них вдоволь да и не показав кому-нибудь еще. Обычно Берг показывал их служанке, у матери к таким вещам не было интереса. Как остро счастлив был он в те долгие вечера, когда они с сыном, бывало, смущенно пожелают друг другу спокойной ночи, а рядом высятся замечательные творения их рук — здесь же, в столовой, — где еще совсем недавно они корпели над их сооружением, неожиданно для себя поверяя друг другу заветные мысли. Все дерзновенней строили отец и сын, особенно с тех пор, как приобрели все необходимые детали конструктора и могли уже позволить себе любые их сочетания.

Взгляд Берга упал на коробки с конструктором, которые громоздились одна на другой в углу столовой: на крышках — наивные картинки с изображениями играющих детей.

А теперь мальчик сказал, что хочет его убить. И отец прочитал это в глазах сына. Это правда.

И все лишь потому, что Берг кричал на сына, допытывался: зачем, ну зачем они заперли учителя в уборной? И еще потому, что всем надо было глотать этот поганый суп каждую среду, когда отпускали служанку — ей Берги стеснялись его предлагать.

— Проклятый суп! — вдруг тихо произнес он. Мать вскинула голову, с обидой взглянула на него глазами, мокрыми от слез. Но взгляд мужа, в котором читалась беспредельная грусть, был прикован к коробкам с конструктором. Медленно обернулся он к сыну и увидел, что сын тоже глядит на конструктор. Увидел, как мертвенно белое его лицо вновь обрело привычную сероватость, затем медленно начало багроветь, крупные руки сына беспомощно заелозили по брюкам.

Рейдар не вытерпел — рассмеялся. Эти проклятия трондхеймскому супу оказались слишком уж неожиданными для возбужденных умов мальчишек. И ему захотелось смеяться над этим рохлей папашей, который разошелся, раскричался, как петух, а потом сник... как цыпленок. Над мамашей, что восседала у стола, залитого блевотиной. Напряжение разом спало, и Рейдар, расслабившись, всхлипывал, то ли от смеха, то ли от

презрения к этим недотепам супругам. Он увидел, как медленно багровеет затылок друга над воротом свитера, и его захлестнуло пылкое чувство любви к этому тугодуму — ему и по немецкому языку всегда приходилось помогать, потому что он не различал падежей. Ради Оливера, ради спасения его жизни и чести он пошел бы на что угодно, даже на поджог или убийство... мало того, он изобрел бы самые изощренные пытки, чтобы извести всякого, кто посмел бы встать на пути у друга! Снова нахлынул гнев. Рейдар чувствовал, как играет в нем быстрый ум — залог власти над всеми этими людьми, нет — рабами. Он бог, который защитит своих чад от зла. Но слабых и неправедных он сокрушит.

Словно очнувшись от сна, Оливер провел рукой по лбу. Он увидел, как изменилось лицо отца, но не заметил той же перемены в своем собственном. Теплый свет, струившийся от лампы в столовой, показался ему бесценным благом, знаком покоя и мира, которым когда-то он наслаждался. А теперь все пропало. Лишь несколько мгновений назад все было как прежде. Пусть тускло, скудно, но все же как прежде.

Он не понимал, как это получалось, что на всякий его проступок тотчас нагромождался другой и все вместе оборачивалось против него. Вся его основательная добропорядочная натура восставала против вихря событий, против лавины вопросов, на которые он не мог ответить, даже если бы от этого зависела его жизнь. Иное дело, когда на уроке Рейдар что-то шептал ему или чертил в воздухе пальцем — конкретный ответ на конкретный вопрос; в этом была надежда, определенность. Не то что теперь. Его обступал чудовищно сложный мир, и он не мог сразу охватить его мыслью, а воспринимал его кусками и потом заново составлял, как конструктор или велосипед, который надо разобрать, а потом снова собрать. Иное дело в мастерской, на уроках труда. Там перед тобой заведомо известные детали, и ты пускаешь их в ход по порядку. Но любая мысль сама по себе уже не содержит таких отправных деталей, и он примирился с этим и лишь терпеливо дожидался всякий раз, когда же кто-нибудь придет ему на помощь. Почему только люди обрушивают



на него задачи скопом — ведь куда легче справиться сперва с одним делом, а затем по очереди и со всеми другими? В глубине души он по-прежнему честно пытался доискаться причины: правда, зачем он запер Шеннинга в уборной? Должен же быть на это ответ, коль скоро на любой вопрос есть какой-то ответ — ответ, которого вечно требуют и требуют от него, Оливера, пока в своей беспомощности он не брякнет, наконец, что-нибудь наобум и уж конечно невпопад.

При этом он живо ощущал волны надежной преданности, которые шли к нему от друзей, сомкнувшихся за его спиной. Только бы эти волны дошли до его отца! Через всю пропасть столовой, разверзшуюся между ними, через эти три метра линолеума. Его называли упрямым, и отцу почудилось упрямство в его глазах. Но в сущности упрямство чуждо ему. Был лишь испуг, потерянности, мешавшая ему привести в порядок свои мысли. Другое дело, когда, бывало, дадут ему в руки гаечный ключ, — он употреблял его с пользой, которая в свою очередь казалась волшебством Рейдару да и всем умникам, всем, кто владел ключом к тайнам немецкой грамматики... Впервые в жизни ощутил он глухую жалость к самому себе: до чего же он глуп!.. Поэтому-то он и не в силах управиться со всей мишурой вопросов в один присест. Он вдруг опустил глаза и, выбросив вперед руки, почти оттолкнув их от себя, уставился на них. Проклятые руки трудяги — они ему не помощники, ни науку постичь не могут, ни даже дать ответ на вопрос: зачем, правда, зачем они заперли Шеннинга в уборной?

Фру Берг встала. Не в силах больше смотреть на загаженный стол, она со вздохом начала убирать посуду, хотя в супницах еще оставалось немало трондхеймского супа. Ей были недоступны мысли отца и сына, которые то отшатывались друг от друга, то вновь тянулись друг к другу могучим, но ломким чувством и снова отшатывались в страхе, что их не поймут. Она смотрела на дело просто: сын сказал нечто ужасное, чудовищное и должен понести за это кару.

Казалось, Берг чувствовал эту отчужденность жены, глубокое непонимание, которое длилось всю жизнь. Но оно же превра-

щалося в мост между ним и сыном, вроде тех мостов из конструктора, которые каждый начинает строить со своего конца, а затем встречается с другим на полпути — и мост готов, он тянется через всю столовую на высоте колена, по нему можно возить игрушечные тележки... а мать только вздыхает, входя в комнату: «Ну и беспорядок вы устроили здесь...»

Все изменилось теперь, а впрочем, нет — разве что этой страшной сцене он обязан прозрением. Но отныне, после того как он осознал опасность, тайно подстерегавшую их давно, его лишь еще сильнее влекло к сыну. С горечью посмотрел он на жену, она же спокойно продолжала убирать со стола, свернула скатерть так, чтобы не разлить блевотину на пол... и в свете лампы тусклым будничным блеском засверкала столешница.

Старинный стол орехового дерева... он был у них с первых дней их совместной жизни. Они получили его в подарок от родителей, жениных ли, его ли — неважно, но он связал их нерушимыми узами вопреки всему. Вопреки всему, и притом всех троих, и союз их любой ценой надо спасти — ведь другой создавать уже поздно.

На глаза навернулись слезы. Ощувив их благодное тепло, он смежил веки. Да, брак его не назовешь сверкающим храмом счастья, высоких мыслей — чего нет, того нет. Но был все же дом, очаг, союз, который длился так долго и который надо сбереечь. В левом кармане жилета у Берга ключ от квартиры, в правом — от служебного сейфа. Завтра он снова пойдет на службу, но у всякого человека должен быть дом, свой очаг, куда возвращаешься каждый вечер. Жалость к себе самому вновь охватила его, теплой волной прихлынула к воспаленным глазам. Нет, ничего не случилось. Страшные слова произнес сын, но это уже прошло. Главное, они здесь, все трое: вместе они — семья. И еще эти двое — приятели сына, прекрасные мальчики, да, прекрасные, умные мальчики из хороших семей, и они за него готовы в огонь и в воду. Уж, верно, что-то есть необычное в его сыне: стоит только посмотреть, как легко дается ему ремесло! Учитель труда с первого дня хвалит его за сноровку и выдумку...

Нет, нельзя беспечно играть с тем, что для тебя — вся жизнь. С детьми — нельзя. Нельзя упрямо ломиться в их душу с вопросами... чтобы победить их упрямство. Да и в конце концов — разве не от него самого унаследовал мальчик упрямство? Унаследовал вместе с технической одаренностью! Когда-то давно Берг мечтал стать архитектором, да только у отца не было денег... Но мальчик станет архитектором. Да, Оливер станет архитектором. Уж Берг раздобудет для него деньги, ради этого он готов сбывать клиентам гардины и нитки до скончания века, обмотать ими весь земной шар!

Жалость к себе самому отступила перед гордостью за сына, который, казалось, столь много обещал. Правда, как раз сейчас он, может, и не в ударе, но у кого не было в жизни трудной поры? Что ж, трудные дети, из них-то как раз и выходит толк...

Вспыхивали и гасли, вихрем кружились мысли. Смирение и гордыня, обида и чувство вины, мечты и досада... Никто не знает меня, думал Берг. Но ведь и он не знал своего сына.

Расстелив на столе чистую скатерть, хозяйка заново накрыла его. Что же ей еще оставалось? Жизнь должна идти своим чередом. А решать, как быть дальше, и вершить суд — дело мужа.

У четверых, стоявших посреди комнаты, чуть отлегло от сердца. Мысли их сообщались, схлестывались, летели друг к другу. Ссора улеглась и погасла, ей на смену пришло раздумье — тихое раздумье пролегло между ними как новый мост. Мальчики не знали, как поступить, — может, самое время проститься сейчас и уйти? А вдруг снова потребуются их помощь? Что, если опять вспыхнет спор между отцом и сыном?

А может... уже не вспыхнет? Теперь их не тревожили замечания в дневнике. После всего, что случилось, любая другая провинность покажется пустяком. Но мальчики хотели увериться, что гроза миновала, прежде чем решиться вдохнуть свежий воздух, который всегда приносит с собой буря. Слишком серьезно было все, что случилось...

Тут хозяйка вновь позвала всех к столу. Позвала так просто, что сомнения разом отпали. Она не тщилась «взять дело в свои

руки», не ждала бурного примирения — слишком серьезно все, что случилось...

«Проклятая школа!» — в душе сказал себе Рейдар. Он подошел к столу, сел. Пусть все будет как прежде, словно ничего не случилось... Проклятая, да, проклятая школа! Как она любит доносить тех, кого и так доносит жизнь! Не всем же, как ему, море по колено...

Рейдар поглядывал то на отца, то на сына. Зачем только люди так усложняют себе жизнь? Он понял вдруг, что судьба есть судьба. «К примеру, отец... — думал он, — да не выхолостило ли смиренное тщеславие ему душу? Как знать, может, и он давно уже полый внутри, как тот цыпленок без костей, которым здесь ублажают тех, кто проиграл битву?..»

— Рейдар, — окликнула его фру Берг. — Будь добр, возьми у меня блюдо!

Рейдар взял блюдо и вежливо протянул хозяйину:

— Господин Берг! Цыпленок!

Берг вздрогнул. Схватив блюдо, он невидящими глазами уставился на него. Кто-то прыснул.

# Декабрьское солнце

Он вышел в раскрытую дверь самолета, и прямо в глаза ему ударило низкое декабрьское солнце. Кто-то энергично подхватил его под руку — стюардесса. «Спасибо, спасибо», — пробормотал он, пошарил ногой в поисках верхней ступеньки и, нащупав ее, сказал уже сердечней: «Спасибо вам за внимание!» Он даже отважился оторвать от перил руку и, вполоборота повернувшись к женщине, приподнял шляпу. Ее ласковое «И вам спасибо!» на какой-то миг согрело его теплой радостью.

Но когда он спустился вниз на асфальт и оставалось только идти вперед, он чуть потоптался на месте. Низкое солнце по-прежнему било ему в лицо.

— Разрешите помочь вам?

На этот раз — мужской голос справа. Он выдавил из себя:

— Нет, премного благодарен, я сам.

Мужской голос воплотился в силуэт, проплыл мимо. Старик подумал, что, наверно, ответил не очень любезно, и сказал в пространство: «Я вполне справлюсь сам, премного вам благодарен». Но, должно быть, человек, желавший ему помочь, не услышал его, и потому он тихо повторил, будто стремясь убедить самого себя:

— Право, я отлично справлюсь сам.— И вдруг с раздражением:— В самом деле, почему бы мне не справиться самому?

Здание аэровокзала заслонило от него солнце. В тени было, как в прохладной воде. Четко вырисовывались очертания при вокзальных строений. Проклятое декабрьское солнце. Он не произнес этого вслух, сказал лишь про себя и уже совсем серди-

то повторил в мыслях: проклятое декабрьское солнце, из-за него бредешь будто вслепую. Прилетаешь сюда с юга, из края, где солнце всегда стоит высоко, из тепла, и тебе бьет прямо в лицо это проклятое норвежское зимнее солнце. Возвращаешься домой после четырехмесячной отлучки загорелый, поздоровевший, сказать по правде, снова чувствуешь себя молодым, по крайней мере, моложе прежнего, да что там, моложе, чем когда-либо раньше, и уж во всяком случае моложе, чем на протяжении многих последних лет, — и сразу прожектор этот бьет тебе прямо в лицо, и люди воображают, будто тебе сто лет и ты без пяти минут покойник. От гнева его бросило в жар, и перед глазами заплясали красные полосы, хотя теперь кругом была тень; и снова пришлось остановиться и передохнуть. Спутники его по рейсу уже ушли далеко вперед, они исчезли в лестничном проеме, который вел к туннелю и оттуда — в большой зал, где выдавали багаж.

И опять же: что они все лезут ему «помогать»! Он наизусть знает все, что надо делать, сколько уж лет он пользуется самолетом, бумажник держит всегда в правом внутреннем кармане с «молнией», ключи — в левом кармане пиджака, билет — в правом кармане пальто, все на своем месте; он не из тех, кто вдруг начинает искать то одно, то другое, задерживая остальных пассажиров, не из тех, кто беззаботно сидит до последней минуты, а потом, спохватившись, роется в сумках, портфелях, карманах. Всех этих нелепых людишек, которых никак не приучишь к порядку, он знал как облупленных, они неизменно попадались ему в каждом рейсе, в каждой поездке, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских портах, наконец, — все это несносное племя нерях, бросающих свои книги в пустых горных хижинах, забывающих брать с собой в дорогу паспорт, всюду роняющих на пол газеты.

Его попутчики преспокойно скрылись в туннеле. И только он один, самый бывалый и самый аккуратный из всех пассажиров, вдруг замер и оробел перед несуществующим красным светом, светом, созданным им самим, порожденным его взбудораженным мозгом, — какой позор! И какая несправедливость! Взять,

например, эту самую стюардессу с ее профессиональной любезностью — почему именно его удостоила она своим вниманием? Ведь кажется, он ни разу не споткнулся, ни на миг не задержал других пассажиров, не лез вперед — он лучше всех знал порядок и соблюдал правила игры. Такой сокрушительный удар — солнце прямо в глаза, — тут любой может замешкаться, пусть только на секунду, да нет — на десятую долю секунды. «Разрешите помочь вам?» Конечно, она вовсе не так сказала, точнее, она этого не сказала, но разве не это имела она в виду: «Давай-ка я помогу тебе, несчастный старик, похоже, у тебя кружится голова», а у кого не закружится голова после четырех часов полета? И еще это проклятое солнце прямо в глаза, нет, конечно, она ничего не говорила, но разве не это имела она в виду?

«Нет, благодарю покорно, пусть только никто не вздумает меня встречать», — по крайней мере, так он сам говорил или думал всего четыре месяца тому назад. Он говорил это год за годом, насколько он мог вспомнить, в ту пору, когда у него еще был кто-то, кто мог бы его встретить. «Пусть никто не вздумает меня встречать, пусть никто не провожает меня, нет ничего хуже этих проводов и встреч, когда — надо или не надо — машут друг другу рукой, будто продолжая разговор, который давно иссяк»; каждая минута подобной получасовой пытки исторгала у него стон. «Может, выпьем кофе? А не хочешь ли бутерброд?» Нет, черт побери, не хочу я вашего паршивого кофе, и нет никакой нужды совать человеку бутерброд только потому, что он отправляется в поездку. И вообще, совершенно незачем притворяться, будто прощаешься друг с другом навеки; да хоть бы и так, какой толк от того, что будешь махать платочком и кривляться лишь потому, что один остается внизу, на земле, а другой поднимается в воздух? Непреложный ритуал прощания сделался мукой, тогда как это час радости и свободы, смысл которого извратили зачем-то, уверяя, будто разлука непременно связана с болью. Почему бы путешественнику не тешить себя иллюзией необратимости разлуки, неважно, правда это или ложь, пусть даже никто не хочет этой разлуки, — все равно, почему бы не насладиться ею? Жизнь состоит из мелких отду-

шин, из внезапных потуг сбросить цепи. «Закройте двери, займите свои места» — или, кажется, странным образом, наоборот? — самые прекрасные слова в нашем языке. Но так говорили во времена поездов, давным-давно. Сколько лет уже он не знал этих встреч и разлук. И прекрасно.

Где-то сзади зарокотал самолет — старик вздрогнул. На миг все поплыло перед ним: ангары, башня; даже летное поле вздыбилось вдруг волной, но тут же вернулось на место. Да и сам он тоже вернулся к своему месту — при этой мысли он улыбнулся невольно. Гнев. Приступы старческой раздражительности по любому мелкому поводу — от них тоже он в свое время бежал, хоть, разумеется, это еще не все — было другое. А теперь он вернулся, и прежнее началось сначала. Он вновь почувствовал, что улыбается, — вялое признание давней и непререкаемой истины. Но коль скоро он признает ее, значит, он с ней примирился. И опять же: при чем здесь старость? Стоишь на летном поле, только что возвратившись на родину, и вдруг забылся, на миг потерялся — разве это не случалось с каждым сотни раз в юности, в детстве: «Где ты был? Что ты там делал? С кем ты там был?» Не так просто все это, как может показаться.

А впрочем, все очень просто. Мальчишке ничего не стоит потеряться, сколько бы лет ему ни было.

Потеряться... Слово это вцепилось в него и не отпускало, а он между тем шагал сквозь освещенный мрак туннеля к багажному отделению. Еще в самолете он прочитал в газете, что 17 американских рабочих погибли в туннеле под озером Мичиган, — вот уж потерялись так потерялись. Ему самому не раз случалось работать в туннелях, когда он служил инженером на промыслах, и чувство потерянности от того, что ты заперт под землей, было ему хорошо знакомо. Странное ощущение — не только страх, временами даже смутная удовлетворенность: наконец-то ты определился на место, так порой доволен местом своим человек в любом сообществе, будь то семья, или круг друзей, или на худой конец мужской клуб, — живя в Лондоне в свое время, он был членом подобного клуба: все сидят, утонув



в низких креслах, будто каждый в своей берлоге, и каждый отгораживается от других газетой, но притом обитатели берлог, все сплошь люди с достатком, уже одним присутствием своим связаны друг с другом, хотя каждый из них, будто в коконе, замкнут в своих раздумьях, воспоминаниях, планах и надежно защищен ими от братства, которого и хочет и не хочет. Так было.

Но вот эти минуты в уютном туннеле на пути к багажному отделению с его залом, залитым ослепительным светом, минуты эти властно заслонили былое — время исчезло. Облегчение при мысли, что главное — позади, по обыкновению пришло к нему, как только выявилась искусственность недавнего принудительного общения. Смутная удовлетворенность переросла в радостное возбуждение, когда со своей легкой желтой кожаной сумкой он благополучно сошел с эскалатора, кстати, и сумка — тоже знак отказа от ненужных забот. Вот они, бойкие его спутники, вот они стоят и переминаются с ноги на ногу, дожидаясь своего барахла. Зачем таскать с собой багаж, когда ты можешь позволить себе всякий раз бросить это старье и купить новое? Поначалу это истинная революция для человека долга, человека порядка. Ну и что? Время долга теперь позади. Есть долг желанный и долг постылый. Семья, друзья — как мило все это и как знакомо, слишком хорошо знакомо и потому немило. Все это ждет его попутчиков: квартиры, замкнутые, как клетки, и раскрытые объятия: «Доволен поездкой, милый?»

В ярком свете дня он стоял, дожидаясь такси, и опять декабрьское солнце больно било в глаза. Его всего передернуло при мысли о квартире на Риддерволлсгате, доставшейся ему после развода: зачем спешить туда, ведь там его никто не ждет. Унылый письменный стол, украшенный лишь случайным набором предметов: семейством бронзовых львов, реквизитом минувших времен, чернильницей, стаканом для ручек — злосчастными ценностями, которыми неизменно награждают всякого, кто долго и успешно служил, нелепо отдав весь свой век какой-нибудь фирме с филиалами во всем мире, лишь готовящими людям гибель. Кресла и шкафы, ковры и безделушки, пред-

меты искусства и туалета — звенья тяжелой цепи, приковывающей человека к месту; книги рядами на полках, все эти книги, что стоят спиной к человеку. На всех вещах — печать конечного, а вот он... разве он по-прежнему не в пути? «В центр!» — приказал он шоферу.

И снова невольно улыбнулся, очутившись в довольно-таки провинциальном центре небольшой нашей столицы, что называется, налегке (наличие маленькой дорожной сумки лишь подчеркивало, сколь легок он на подъем, нимало не обременен поклажей): сейчас он может пойти куда только пожелает.

День был еще в разгаре, отсветы всепожирающего солнца молниями стреляли из окон домов пониже к гавани. А сам-то он хорош: стоит в центре «родного» города и ведет себя как чужак, как какой-нибудь путник, еще не добравшийся до места назначения. И к тому же он голоден: он никогда не ест этих жалких синтетических блюд, какими потчуют в самолетах... Так-то! Риск, что он встретит знакомых, сейчас совсем невелик, если только не заходить в так называемые фешенебельные рестораны, — впрочем, немногие уцелевшие заведения высшего класса ныне сосредоточены в основном на Канарских островах.

Высоко подняв воротник пальто и надвинув на глаза шляпу, он легким шагом прошел в один из мрачных переулков вблизи тупикового вокзала и сразу наткнулся на кафе, которого прежде никогда даже не видел, должно быть, один из темных притонов того провинциального увеселительного мирка, который стремится к внешней благопристойности.

Обстановка мгновенно заорожила его. Он сощурился, вглядываясь в полумрак, царивший за гардинами из деревянных бус. Темнокожий метрдотель, блеснув жемчугом зубов, усадил его, покорного, точно в гипнотическом сне, за столик со скатертью кроваво-красного цвета. Ризотто будто огнем обожгло ему небо, и он запил его крепким бургундским. Все, стало быть, шло своим чередом еще до того, как он нацепил на себя очки и взял в руки меню, оформленное в ташистской манере. Мимо бесшумно скользили официанты в иссиня-черных, как ночь,

пиджаках, одну за другой опуская на стол мисочки с соблазнительными закусками. «Не то что дома на Риддерволлсгате!» — пробормотал он, наслаждаясь сладостью греха. Он вдруг уронил на ковер очки.

— Разрешите помочь вам?

Узкая мужская рука протягивает ему очки. Змеиная фигура мужчины возникла не то из-под земли, не то из джунглей несчетных столиков под приглушенными огоньками ламп.

— Премного благодарен. Без очков, знаете ли...

Слова тонут в полумраке.

— Кто не потерял очков! Не возражаете, если я на минутку присяду?

Откуда-то, точно с неба, появился стул.

— Что вы, несколько! Я сейчас скажу официанту...

Излишняя забота. Официант в иссиня-черном костюме тут как тут с бокалом в руках, в глазах молчаливый вопрос.

— Прекрасно. Налейте моему гостю вина!

— Нет, нет, что вы, ни в коем случае... Впрочем, раз вы настаиваете, вы необычайно любезны!

— Сказка!

— Простите? Не понял.

— Нет, ничего.

Сказка. Благостное, давно забытое чувство.

— Как я понимаю, вы возвратились из дальних стран. Об этом говорит ваш загар...

Сказка это. И ведь не только приятно — увлекательно даже.

— Да, лучше юга нет ничего!

А между тем уже начали вторую бутылку.

— «Шамбертен». Что может быть лучше «Шамбертена»! А теперь я хочу вас поблагодарить и откланяться. И без того я злоупотребил...

— Несколько... Я и впрямь только что возвратился на родину, как вы совершенно правильно догадались. А может, нам пригласить сюда вашу компанию, вон с того столика...

— Вы необычайно любезны! Кстати, разрешите представиться. Моя фамилия...

Вежливый жест руки. (Интересно, что за роль я сейчас разыгрываю?)

— К чему фамилия? Я и сам для себя чужой.

— Прекрасно вас понимаю. Вы еще не почувствовали себя дома. К тому же, возможно, вы одиноки...

— Да, я одинок. Так как насчет вашей компании?..

Он снова один. Несколько долгих секунд один за столиком, который вдруг будто опустел. Все долгие секунды сумятица в мыслях. Сейчас еще можно уйти, можно просто встать и уйти, будто ему вдруг стало дурно, и вновь очутиться на улице. В мыслях он уже вышел и очутился на улице. А сам между тем продолжал сидеть. Стены с обоями под золото излучали мягкую музыку. Восточную музыку. Он мог бы сейчас же выйти на улицу. Но он продолжал сидеть.

— Послушайте, официант...

А бутылка уже стоит на столе. Сказка.

Дамы отнюдь не лишены обаяния (такие разные, но весьма привлекательные, каждая на свой лад, а впрочем, мне-то что?).

— Итак, я уже говорил: добро пожаловать к моему одиночному столику (зачем только я кокетничаю своим одиночеством, разве не знавал я женщин в разных концах земли!).

Обернувшись к широкоплечему предводителю всей компании — прямой антипод тому, другому, узкозмеиному, — говорю:

— Мне кажется, будто я где-то вас видел, может, на снимке в газете...

Смех. Широкоплечий скромно пробормотал:

— Да, кто-нибудь уж непременно тебя узнает, — но дамочка в белой шубке тут же оборвала его. Назвали имя боксера, некогда знаменитого, известное имя, но совсем неизвестное старику, — впрочем, оно так же внезапно пропало, как и всплыло.

— Да, конечно, иногда, знаете, забываешь имена, уж вы меня извините... (К чему этот униженный лепет, к чему вообще весь этот спектакль, моя нелепая роль?)

— Нет, уж это вы должны нас извинить!

Это сказала другая дама, та, что повыше и поплотней, в красном платке (он ей совсем не к лицу, впрочем, мне-то какое дело?).

Широкоплечий учтиво протягивает зажигалку. Повод для очередного невнятного бормотанья, которое опять же мгновенно прерывает дамочка в светлой шубке (право, она похожа на кошку, на сиамскую кошку):

— ...Мы, можно сказать, пришли и навязались человеку!..

— Что вы, нисколько! Это же была моя идея! На редкость удачная идея!

— Неужели у вас и вправду нет близких?

(Черт побери, что я наговорил им про свое одиночество, мы же совсем незнакомы!)

— С годами, когда стареешь, легко обрываешь все узы. Старость, знаете ли...

Все громко протестуют, поднимают бокалы:

— Послушайте, официант...

Человек в костюме цвета южных ночей тут как тут. Глаза уже не спрашивают ни о чем.

— ...словом, это я должен вас благодарить...

Слова, слова, потом сплошной гул. Он сидит за столиком, он душа общества. Силится взглянуть на себя со стороны. Неожиданная ситуация, он сам удивлен. Но приятно, чрезвычайно приятно. Приятная отсрочка, чтобы только не возвращаться домой. К чему все это? А ни к чему. Просто легкомысленный зигзаг по пути домой. К чему только? А ни к чему. Старый человек вернулся домой, да, что я хотел сказать? Впрочем, я так много уже всего сказал, так доверительно говорил с этими людьми... А, не все ли равно, чего только порой не сболтнешь, еще раз: за ваше здоровье! Я вот что хотел сказать: представьте себе, пожилой господин щурится, глядя на солнце, на это проклятое декабрьское солнце холодного севера... почему бы ему не завести новых друзей, все на свете меняется, да, прошу вас, принесите еще вина, бутылку этого самого «Боллингера», разумеется, «Боллингер магнум», ага, видите? вот она уже перед нами, в ведерке со льдом! Так я что хотел сказать, друзья мои?

За ваше здоровье! Был очень рад познакомиться... то есть почему это — был? Я и сейчас рад сердечно... Вы молодые люди, люди совершенно другого... впрочем, неважно... что это я говорю, вздор какой-то, хотя если взглянуть на дело с другой стороны... Конечно, я еще владею собой... до известной степени, разумеется... все в жизни отпущено нам до известной степени. И всему приходит конец.

Он сидит размышляет, а они все говорят, говорят. Сплошной гул голосов. Все говорят не смолкая. А сам он — произнес ли он только что речь или лишь думал все это? Нет, он еще владеет собой, он сейчас задумался, он думает, что всему приходит конец. Он думает, что... «как вы сказали — хорошо бы продолжить? Нет, знаете, наверно, уже не смогу... вы предлагаете... на частной квартире?.. У себя дома? Вам тоже надоела эта музыка, которую излучают стены, не правда ли? Ах, ну в таком случае... вы очень любезны... и вы говорите, машина нас уже ждет? Ну что ж, отчего же не гульнуть немножко еще, да еще рюмочку опрокинуть, маленькую, совсем маленькую рюмочку...»

Декабрьское солнце... Оно сокрушительно ударяет в лицо, стоит мне только подойти к окну. Огромное окно без гардин выходит на юг. Окно выходит на юг, это я вычислил, и еще вычислил, что я здесь уже шестнадцатый день или, может, чуть больше — восемнадцатый. Многое остается неясным. Хотя кое-что я вычислил. Например, что нахожусь в одном из городов-спутников, которыми наша столица окружила себя за все те годы, пока я корпел над бумагами за письменным столом, возился с расчетами и техникой — как у нас в Норвегии, так и в разных уголках мира. И здесь тоже свой мир, и тоже далекий. Географически близкий, конечно, но притом далекий, во всяком случае, для меня: «очень далеко от Риддерволлсгате», как я однажды сказал сам себе. Я оглядываю ряды одинаковых домов, группы почти одинаковых домов, каменные корпуса, чем не природа — крутые горы домов с глубокими лощинами между ними. И здесь свои строительные площадки, я вижу, как

работают экскаваторы, хоть их не слышно сквозь двойные рамы окна, вдали — покрытая лесом гора с пятнышками снега то тут, то там, будто белые простынки или носовые платки на зеленом фоне, — должно быть, и эту гору тоже со временем снесут, чтобы расчистить место для новых домов и людей, да мне-то что за дело до этого?

Состояние моего духа? Что ж, у меня теперь есть досуг наблюдать за этим. Я спокоен, сравнительно спокоен после долгих приступов раздражения, страха. Да, страха. Я испытал сильный страх, он и сейчас накатывает на меня волнами, перемежающимися ощущением чуть ли не благополучия, во всяком случае покоя. Хрупкого покоя.

Быстро отвернувшись от окна, я иду к двери. Заперта. Я знаю это. Я давно знаю это. Поначалу я проверял дверь, может, раз сто на день, затем все реже и реже; рациональность действий определяется логикой. Потому что дверь заперта. Они не выпустят меня отсюда. Здесь, может, даже уютно, комната — смесь спальни с салоном: будь здесь гостиница, я даже назвал бы такой номер роскошным. Но здесь не гостиница. Становлюсь посреди комнаты, очевидно довольно уютной, и делаю гимнастику, как делал всегда, год за годом. Я слегка располнел, не люблю этого. Приседаю, выбрасываю вперед руки, еще обороты руками, вращение туловища — затем ложусь навзничь на тонкий ковер, выделяю ногами «велосипед». Законченный ритуал. Встаю, в силу давней привычки бросаю взгляд на запястье, но часов на нем уже нет, и мне это отлично известно. Пальцы правой руки сжимаются сами, так хочется взять ими мой верный «паркер», но в левом внутреннем карманчике пиджака ручки нет. Ручкой можно хотя бы отмечать дни, но у меня нет ручки. Они отняли ее у меня, они все у меня отняли. Паспорт. И его, разумеется, взяли. Я — человек, который любит во всем порядок, но у меня нет паспорта, у меня вообще нет ничего, что удостоверяло бы мою личность. Не то чтобы я сомневался, кто я такой. Молодой человек со змеиной повадкой, которого я привык называть Ужом — в первое время я все просил его вернуть мне мои вещи: ручку, паспорт, деньги, часы, — лишь

улыбается своей неизменной улыбкой. Входя ко мне, он никогда не стучится в дверь, а возникает внезапно, неслышно, как тогда в ресторане: всякий раз ему что-то нужно от меня, и он всякий раз добивается своего, мне не хочется думать об этом, по крайней мере сейчас. Меня опять неодолимо тянет к окошку, убедиться, что все же существует некий «внешний мир». А то, что живет во мне, я называю «внутренним миром». Но там, снаружи, мир внешний.

Только бы солнце так не било в глаза. Не в нем, конечно, дело, оно скоро зайдет. Я тут разные мелочи высчитал. Окно выходит на юг. Здешняя квартира (я так и называю ее: «здешняя») находится на восьмом этаже — я высчитал это по щелканью лифта — единственный звук, который доносится до меня, здесь никогда не слышно ни голосов, ни шагов. В первые дни я все рвался к телефону, спорил с ними, пытаюсь их уговорить, противился им... как давно это было. («В чем дело? Кажется, вам неплохо живется у нас?») И правда, в чем-то, может, и впрямь неплохо. Мне никак не додумать до конца этой мысли, будто не с чем сравнить. Странно.

После гимнастики, после прогулки к окну снова выхожу на середину комнаты. Кровь вдруг прилила к голове, может, от разминки; помню отчетливо, что раньше вел себя совсем по-другому, помню приступы ярости, редкие, но бурные, как-то раз я даже разбил вазу. («Разумеется, мы не станем требовать, чтобы вы возместили стоимость вазы, но, пожалуйста, дорогой друг, больше уж так не поступайте».)

Помню события, которые повторяются то и дело. Приносят на подпись бумаги. «Подпишите!» Что-то жесткое тычут в поясницу, может, револьвер,— впрочем, может, мне показалось. Ему то и дело приказывают: «Подпиши!»— и суют ручку... Я теперь стал называть себя «Он». Стою вот посреди комнаты и прислушиваюсь и вижу, как «Он» стоит посреди комнаты и прислушивается к звукам, которых нет, которых не будет, и «Он» знает это. Я это знаю.

Что ж, оставляю «Его» на середине комнаты; здесь тонкий ковер, справа кровать, над изголовьем приемник, только немой.



Оставлю «Его» на середине комнаты, и пусть «Он» там произносит свои фразы — всю мою долгую, наполненную работой жизнь во мне всегда жил кто-то, беспрестанно произносивший фразы. Пусть «Он», например, скажет: «Как-никак, я все же не один на белом свете! Кругом полным-полно людей, жаль, что я прежде не замечал их, покамест еще было можно». Почему бы ему не сказать и другое: «Я уважаемый человек»? — самому-то ведь неловко такое говорить. Но «Он» говорит иное — тревожные, зловещие слова: «Я боюсь Ужа и того, широкоплечего, тоже боюсь. Боюсь, а вдруг они стоят за дверью, они всегда входят ко мне без стука». И еще изрекает он вслух почти тайные мысли, вроде: «Хорошо, что никто не стучится в дверь, не входит в комнату, не возникает предо мной, тем и хорош этот миг и следующий, за которыми, может, будут еще и другие — много-много секунд радостного избавления».

Вот такие вещи я позволяю себе говорить, то есть «Ему» позволяю. А все же самое страшное — это если они вдруг постучатся в дверь. Тогда — прочь шутки, конец всему!.. И теперь я боюсь, как бы вдруг не раздался стук. Но я не хочу говорить об этом, и «Ему» не позволю.

Я все думаю: где только не побывал этот человек, с которым я делю уединение, чуть ли не весь мир объездил, этот многоопытный путешественник, который возвратился домой и дал заманить себя в западню как какой-нибудь крестьянский проstack; о таких вещах только в журналах пишут, только обычно все много проще, обставлено не столь хитроумно. Я сам рассказал им, или, может, они догадались, что я человек со средствами и притом совсем одинокий, никто обо мне даже не вспомнит. Я всегда искал одиночества и обрел его. И был доволен. Пока одиночество в неодолимом порыве не швырнуло меня в когти людей куда менее одиноких, людей из темного мира, не страшущихся, однако, ни света дня, ни яркого солнца. «Внешний мир» объемлет толпы людей. Когда «Он» жил в том мире, «Он», как мог, избегал людей: они мешали ему, все мешало ему, «Он», говоря откровенно, и знать их не хотел, разве что походя, в веселый час, воспользоваться людским обществом,

а уж потом сразу — прощайте! да, так, должно быть, и жил тот человек, когда еще не был стар.

Только уж как давно все это было! Мне трудно поверить, что «тот человек» — это я. Как-то раз в один из первых дней в этом доме я разбил окно: сорвал с себя ботинок и ударил им по стеклу, хотел крикнуть в идиллическую пустоту — пустоту, кишашую людьми. Но на здешних окнах двойные рамы, а в следующий миг он уже подскочил ко мне. Тот самый, Боксер. Удар ребром ладони в затылок. Когда я очнулся, на мне не было ботинок. С тех пор они всякий раз на ночь уносили мою одежду. И стул они тоже забрали, единственное, что стояло в комнате, но это было уже после.

Как-то раз я сказал: «Зачем вы отнимаете у меня все?» Но мне ответили: «А что, разве вам плохо живется?» — или что-то еще в этом роде. А в другой раз сказали: «Непонятно, на что вы жалуетесь». Что правда, то правда, каждое утро мне выдают чистое белье, раз даже мне вернули костюм, и от него пахло знакомым запахом, какой оставляет химическая чистка. В самом деле, не скажу, будто я в тоске, будто я все время в тоске. Наверно, они подсыпают мне что-то в еду, да, безусловно подсыпают, но что я могу против них? Я даже голодовку объявлял, чтобы обрести ясность мыслей, четко представить себе мое положение. Но ведь все равно приходится чистить зубы, и совсем без питья тоже нельзя. Уж не знаю как, но только они оглушают меня каким-то зельем. Прежде я еще пытался отсюда вырваться, однажды даже предложил им крупную сумму, чтобы откупиться от них раз и навсегда, — они тогда были здесь оба, хотя нет, это было в другой комнате, в нижней гостиной — просторной, светлой, обитой соломкой гостиной, сверкающей чистотой и обставленной с таким вкусом, который встретишь разве только в японских домах... помню улыбку, с какой они выслушали эти слова, бумагу, которую заставили меня подписать, — письмо в мой швейцарский банк, моему поверенному в Цюрихе: распоряжение о продаже нового крупного пакета акций. Помню, я возразил, что рано или поздно все равно... и помню их улыбку,

одинаковую их улыбку, пожалуй даже не лишенную тепла,— так улыбаются ребенку, который не ведает, что его ждет,— «да, да, конечно, вы правы»,— очевидно, «мои» письма переправляли в какие-нибудь дальние края, возможно на Канарские острова или же в Гватемалу, и там опускали в почтовый ящик, у них ведь всюду свои связи. И какой цюрихский маклер станет утруждать себя подозрениями?

Может, тогда впервые меня осенило, что я бесполезно прожил свою жизнь, бесполезно как в малом, так и в большом, всю жизнь провел в бесполезной борьбе с воображаемым врагом, каким представлялось мне все, что вовне. Мысль эта, блеснув, не исчезла, но пустила корни. «Ты — никто,— сказал я себе,— ты всегда жил лишь для себя одного». А впрочем, разве не следил я за тем, что творится в мире? То-то и оно, что только «следил». Впервые мысль эта пустила корни во мне, поселилась, расцвела в душе пышным цветом — не забыть ее теперь, не отмахнуться: ты — сам себе тюремщик, не человек почти, ты — никто.

Однажды, наверно, это было в тот раз, внизу, в большой комнате, которую я зову японской гостиной... хотя нет, там я ведь бывал не один раз — совсем худо у меня с исчислением времени, да, хуже некуда,— словом, в тот день подсунули мне... газету. Правда, вместе с костюмом мне иногда приносили газету, но даты всякий раз тщательно вырезали и на первой странице, и вверху над каждой корреспонденцией и телеграммой; должно быть, прошло много больше тех шестнадцати дней, которые я насчитал. Вернемся к тому дню, на аэродроме, когда стюардесса подхватила меня под руку. Декабрьское солнце ослепило меня, это было дурное знамение. То же солнце и сейчас за окном, разве что стоит оно еще ниже. С чего, собственно говоря, я взял, что прошло ровно шестнадцать дней? Разве не видел я все время эти две рождественские елки внизу под окном, эти уличные елки без украшений, днем источающие мутный электрический свет? А ночью... нет, я не припомню ни одной ночи у здешнего окна, разве что по ночам я изредка ковыляю в уборную, там всегда горит свет... как-то раз я попробовал отвернуть

крышку от унитаза, может, с намерением разбить ею окно. А на другой день я увидел, что крышки уже нет, да, правда, чего только я не перепробовал, пытался, например, вывернуть краны в мойке и в ванной, помню, как-то раз утром у меня обе руки были в крови, утром... а что вечерами? Ни одного вечера не припомню, свет гасят и зажигают в коридоре за дверью. Все это происходит «снаружи», там, где осталась вся моя жизнь, или «Его» жизнь, жизнь человека, которого не знает никто. Но я уловил еле слышный щелчок выключателя, когда они там, снаружи, зажигали или тушили свет, и тогда я невольно подносил к глазам руку, на которой прежде были часы. Время... да, оно существовало раньше, должно было непременно существовать, но сейчас я хочу сосредоточиться вот на чем — ведь с каждым днем мне все труднее сосредоточиться, — я, кажется, начал рассказывать про японскую комнату; так вот, однажды утром в газете снова была дыра: на самой середине одной из страниц вырезали небольшой квадратик, и я не столько читал газету — рекламу рождественских подарков, сообщения о войне в Пакистане, мести, убийствах, крови, вся газета, казалось, пропитана кровью, — я не столько читал все это, сколько гадал, что же такое было в изъятой заметке, — и вот тогда-то я и побывал внизу, в японской гостиной, и там вдруг увидел краем глаза на кафельном камине маленькую газетную вырезку; мой дальний взгляд пробежал ее мигом: заголовок гласил, что ежегодно в Осло, а не то во всей стране, точно не помню, пропадает без вести столько-то и столько-то людей. Но тот, кого я прозвал Ужом, мгновенно убрал вырезку, только я успел ее прочитать, и я гадал, не нарочно ли они положили ее на камин, я давно понял, что они всегда действуют неспроста. В тот раз мы пили чай с ромом и ели печенье, вообще я всегда терпеть не мог теста в любом виде, но тут вдруг появилась та самая дама из ресторана: «Пожалуйста, угощайтесь, неужели вам не нравится мое печенье?» — с ударением на слове «мое». Притворное ее радушие испугало меня. Это была та самая высокая дама, которую я прозвал «амазонкой». Вся сцена будто разыгрывалась у меня внутри — только так и бывает отныне — и казалась оттого не-

реальной, и оттого же невольно напрашивалась мысль, что, может, всегда так и было и только я один оставался «снаружи», вовне, а может, совсем напротив, это я жил будто под оболочкой, будто под скорлупой. Временами до меня доносился слабый отдаленный шум лифта, и я подумал, что вокруг живут люди, совсем обыкновенные люди, и эти два слова «обыкновенные люди» привязались ко мне, прилипли так, словно обыкновенные люди, которых я не знал, всегда были рядом. Я вижу этих людей из окна: мужчин, которые по утрам садятся в машины и уезжают куда-то, каждый в свой обособленный мир, а вечером возвращаются назад и вылезают из машин; вижу я и детей — они играют, дерутся; слева, далеко-далеко, должно быть к востоку, вижу я детский скверик с его игрушечным инвентарем — горкой, с которой можно скатиться, лестницей, по которой лазают вверх и вниз. Все крошечное — будто вид с самолета. Вижу домашних хозяек с сумками и прозрачными пакетами, набитыми так, что, кажется, вот-вот треснут, набитыми всем тем, что необходимо людям, что они покупают изо дня в день, — вижу быт обыкновенных людей, о котором никогда не задумывался до сих пор. Вижу и сознаю: все это — часть жизни, часть жизни многих людей в этом городе — спутнике столицы. Должно быть, я прежде никогда не видел города-спутника, никогда не пытался представить себе, что скрывается за этим словом, я провел всю свою жизнь за чертежной доской, за письменным столом или в поездках, в разных медвежьих углах. Такие слова, как рост города, да, совершенно верно, «рост города» — так это называется, — я привык воспринимать лишь в кавычках: об этом нет-нет бегло прочитаешь в газете, да и что с того, меня это не касается, и вообще, что означает «рост»? Что в городе стало больше людей? Убыстрился темп жизни? И то, и другое, должно быть, всего стало больше, но меня это никак не касалось. Как не касалось меня никогда само это слово «город-спутник», оно даже не оседало в мозгу. Спутник — это небесное тело, вращающееся вокруг другого небесного тела, второе и есть главное, а первое, значит, всего лишь спутник второго. Так, кажется. И пригород здешний, значит, город-спутник.

Спутник другого города, который больше, важнее первого, по крайней мере, так принято считать. Мысль невольно перескакивает к другим спутникам, к планетам, где существует иная жизнь: интересно, какая планета или какие планеты считаются важнее других. Планета вовне тебя самого... мысль бессильна такое вообразить. Я и сам — такая планета, то бишь «Он». Сколько я стоял здесь у окна, разглядывая крошечных моих спутников с их машинами и продуктовыми сумками. Так жили они всегда, так живут и поныне, просто я об этом не знал, меня это не занимало. Значит, люди не интересовали меня? Да или нет? А сейчас — интересуют меня все эти муравьи, ползающие внизу, под окном?.. Интересуют?

Откровенно говоря, нет. По мне — пусть разъезжают взад и вперед в своих машинах, перетаскивают свертки, возят свои коляски, волокут за собой свои заботы, это же не мои, а их заботы, да и вряд ли они особенно велики, ведь сами людишки — что точки. И их-то я пытался окликнуть в разбитое окно. Смех, да и только. Если бы мне удалось выброситься в окно, они пугливо кинулись бы врассыпную со своими сумками, колясками и заботами, да и зачем бы им беспокоиться обо мне, коль скоро я никогда не беспокоился о них? Что посеешь, то и пожнешь. Но сейчас мне нужно только одно — бежать отсюда, и, кто знает, может, и они бы рады отсюда бежать... А может, люди, наоборот, спешат домой? Никогда мне не было дела до них — нет и теперь. Может, они и не ведают ничего, кроме смутной тоски, сугубо бесцельной? Как собственная моя тоска? Сон наяву, не иначе. Временами во мне даже угасает тоска. Как-то раз тот самый, кого я зову Ужом, мой друг («ведь мы друзья, не так ли?») спросил меня: разве, в общем, я не получил всего, что хотел? Случалось, мы даже гуляли вместе, совершали небольшие прогулки по вечерам, когда улицы пустынные; Уж и Боксер плотно подпирали меня с обеих сторон... Так вот, он, значит, спросил, разве я не доволен своей жизнью? И странным образом, правда... ох уж это мне декабрьское солнце — бьет человека в лицо, пока не потемнеет в глазах... да, в тот раз он проговорился, что я будто бы продал мою квартиру на Риддерволл-

сгате, оформили эту сделку при посредстве моего поверенного в Цюрихе на основе моего незаконнейшего распоряжения и подписи... неужто я все это позабыл? Должно быть, именно тогда я предложил им некую сумму, чтобы раз и навсегда откупиться от них, но в ответ оба лишь улыбнулись, словно желая сказать: «как бы не так! Чтобы потом вы сразу помчались в полицию?», да, наверно, весь разговор состоялся в тот раз, а после прогулки мы сошлись в японской гостиной на вечеринку, рядом с кафельным камином стояла — господи, прости! — рождественская елочка, наверно, тогда-то я и углядел газетный квадратик на камине, наверно, они хотели напугать меня не одним, так другим. Дамы тоже были при этом, одна, в индийском сари, та самая, маленькая, с нежным лицом, она на миг прильнула ко мне и сказала: «Луч солнца в декабрьскую стужу», а я спросил, да, кажется, я спросил, что она хочет этим сказать, и вроде бы она ответила, что жизнь старика сродни декабрю: лед, стужа и мрак венчают его конец; да, наверно, это было в японской гостиной, и, как в былые дни, я ощутил ужас при мысли, что всему миру во мне уготована смерть, она же, уловив мысль, на которую сама натолкнула меня своими словами, откровенно, будто лунатик, подошла к елке, сказала: «А мы здесь все вместе заботимся о вас, чтобы ваш декабрь был ослепительно светел, без мрака и льда»... и остальные трое с каким-то недоумением подняли на нее глаза, а Уж с коварной усмешкой промямлил, что как ни верти — конец, мол, всегда один. «Только не у колбасы, — сказал Боксер, — у колбасы два конца». Все засмеялись. «А вам не смешно?» Нет, мне не смешно. Зато им было весело. Не стану отрицать, что и мне вечер этот был чем-то приятен, хоть и казался совсем далеким и никак меня не волновал, — просто это была отсрочка; думалось, вот мы сидим здесь, четверка эта да я, в японской гостиной дома в городеспутнике, а раз так, не может же быть, чтобы «все прочее» было правдой. Только вот что я подразумевал под «всем прочим», спустя столько дней я никак не мог в точности сказать. Потому что с тех пор «все прочее» или «это», как я часто называю его в мыслях, придвинулось ко мне столь близко, что оно уже будто

и не волнует меня, по крайней мере не слишком. При том, что я знаю...

Я знаю... и снова стою посреди комнаты на тонком ковре, ощущая под ногами его жесткие полосы, потому что сегодня один из тех дней, когда мне не вернули ни носков, ни ботинок, и потому я стою на середине комнаты в пальто, но только босой и пытаюсь сосредоточиться на том, что знаю. А что еще я хочу узнать? Я ведь сказал себе, что знаю все. Впрочем, сказал ли? Я веду разговор с самим собой, обращаюсь к себе или к «Нему», только это разговор без слов, без звуков — здесь ведь могут быть спрятаны микрофоны... Словом, я знаю,

что они не оставят меня в живых;

что число людей, пропавших без вести, скоро увеличится на единицу, — наверно, сумма, хранящаяся у моего поверенного в Цюрихе, вот-вот иссякнет;

и еще я знаю, что сейчас около трех часов дня.

Я определил время по солнцу, оно как раз садится за горой, которая видна за высокими башнями домов, что высятся за детским сквером, и машины, первые машины едут домой, в город-спутник. Солнце золотит над горой плоские облака — не потемки, а свет принес с собой закат. Вдруг облака разом погасли. От волнения в груди у меня перехватило дыхание.

Стук в дверь. Обычно они входят без стука, значит, на этот раз что-то не то. Снова стук. Терпеливый, негромкий.

Я стою у окна, лицом к заходящему солнцу. Закат догорел. Лишь высоко над ним смутно желтеет золотой венчик — картину эту я видел еще ребенком, на грошовой репродукции в каком-то журнале, должно быть, в детском журнале «Магне», в ту пору я был от нее без ума, странно, чего только не сберегает память. Снова стук в дверь, а небо за окном блекнет, блекнут лучи закатного солнца, будто, прежде чем погаснуть, цепляясь в отчаянии за легкие облачка, и тут в четвертый раз раздается стук. Кажется, я сказал: «Войдите».



# Кто есть кто

· · · · ·  
— И смерть нисколько вас не страшит?

— Я ведь уже сказал вам: нет. Хотя вопрос поставлен не совсем точно, барышня. Вы имеете в виду агонию? Она меня не пугает. Умирать вряд ли много страшнее, чем вырвать зуб. Но если вы говорите о самом состоянии небытия, тогда дело другое. Было время, когда мысль о смерти почти не давала мне жить. Вот вы улыбаетесь, а иные люди кончали с собой исключительно из страха перед смертью: ведь страх перед состоянием смерти — вернее было бы назвать его антисостоянием — способен завладеть человеком, как «порча», — весь ужас в том, что природа не одарила нас таким вечным «я», которое сохранилось бы и за гробовой чертой.

— А если допустить, что существует жизнь после смерти?

— Я вполне понимаю людей, которые цепляются за надежду как-то продлить свою жизнь в новом качестве, став, например, цветком или кошкой, на худой конец крошечной точкой в мозгу другого человека; нет даже нужды верить в бога, чтобы поддаться соблазну. Но тому, кто не склонен в это поверить, остается одно: привыкнуть к мысли, что конец неизбежен, хотя для этого необходима известная сила воли. Задача отнюдь не в том, чтобы упорно отгонять мысль о смерти всякий раз, как она появится у человека, а уж появится она непременно, смею вас уверить; впрочем, вы и сами, должно быть, знаете это по собственному опыту. Я другое сказать хочу: всякий раз отгонять мысль о неизбежном конце — значит, лишь умножить грозную

власть этой мысли и тем самым умножить наше бессилие. Наверно, это и есть тот редкий случай, когда полезно разбередить рану, не давая ей зажить. И глядишь, боль от этого поутихнет. Парадоксально? Не думаю.

— Вы сказали: природа не одарила нас таким вечным «я», которое сохранилось бы и за гробовой чертой...

— Это лишь одна сторона вопроса, но есть и другая. Как мы сами относимся к нашему бытию, покуда мы еще живы, короче, как мы пользуемся жизнью, — вот видите, я употребляю наше излюбленное словечко... Спрашивается, а много ли мы живем при жизни? Что случаются в ней провалы, пустоты — это каждый из нас испытал на себе, — когда минуты, часы, даже недели будто проваливались, исчезали куда-то, словно и не было их вовсе... Нет, нет, я не об отдыхе толкую, не о каком-то внутреннем отключении. Повторяю, я имею в виду не отдых, а сплошной холостой ход, никоим образом не связанный с чем-либо потусторонним, но и полностью оторванный от того сложного сплава импульсов, торможений, реакций, который мы именуем жизнью, который и образует наше «я». Состояние это есть смерть или, по меньшей мере, чрезвычайно схоже с тем, что я понимаю под смертью, то есть небытием.

— Все же, наверно, тут есть известная разница?

— Сердце продолжает биться, кровь струится по жилам, сигналы мозга улавливаются электроэнцефалографом — да, конечно, разница есть. Беда лишь в том, что разница эта ничтожна.

— Значит, что-то вроде прижизненной смерти? И вы полагаете, что это состояние часто встречается у людей?

— Не только встречается, многие люди почти всю жизнь пребывают в нем!

— Неужели вы думаете, что таких большинство?

— Насчет большинства не скажу. Считайте, что я повстречал на своем веку тысяч пять людей — ведь я много колесил по свету, — считайте, что я набрал, ну, скажем, двести знакомых. Значит, из них я в лучшем случае по-настоящему знал лишь человек двадцать, не больше, а то и вовсе одного-двух.

— А может, ни одного?

— Может, и ни одного. Вы совершенно правы.

— Вдруг вы и себя самого не знаете?

— Не надо этого пустого глубокомыслия, барышня. Сейчас модно кокетничать тем, что будто бы никто не знает самого себя. Да, да, не спорьте, в лучшем случае это просто распространенная интеллектуальная игра. Но даже и без игры любой мало-мальски пытливый ум бесспорно потратит на своем веку не меньше нескольких лет на исследование всех бездн и закоулков своей души.

— А если человек вдруг умрет, скажем лет двадцати?

— Значит, из этих двадцати лет он десять потратил на самоанализ.

— А если человеку за семьдесят?

— Время, затрачиваемое на самоанализ, не растягивается соразмерно годам. Человек, которому сейчас семьдесят, наверняка подолгу забывал копаться в себе самом. По крайней мере, лет до шестидесяти. После этого рубежа самоанализ возобновляется с новой силой. Вообще, это очень важное десятилетие — между шестьюдесятью и семьюдесятью годами. Снова всплывает былое. Человек, можно сказать, возвращается в детство. В этом склонны видеть нечто зловещее. Но то, о чем я говорю, не имеет, точнее, почти не имеет ничего общего с оскудением ума. Просто в мозгу перестраиваются все связи, поскольку в сети словно бы угасают отдельные батареи. Самыми жизнеспособными батареями — чтобы уж продолжить наше сравнение — оказываются те, которые первыми были пущены в ход. Может, оттого, что в повседневной гонке и суете им больше других довелось отдыхать или, наоборот, довелось жить своей, иной, потаенной жизнью, как знать? Так ли, иначе, но в них таится жизненная сила. Тогда как источники энергии, непрерывно работавшие день за днем, с течением лет изрядно поизносились. А ведь мысли в большинстве своем кружат вокруг будничных дел, вокруг нескончаемой череды доходов-расходов, налогов, погоды, одежды, рыбы и мяса, витаминов, калорий, зонтиков и галош. Не успеешь ахнуть, как твоя жизнь уже све-

лась к сплошным будням; да, то, что мы так торжественно зовем жизнью, сводится к простому существованию — вот что я называю холостым ходом, прозябанием.

— Боюсь, наш разговор принял слишком отвлеченный характер.

— Представьте себе пейзаж с небольшими холмами: еле приметные холмики, слишком маленькие, чтобы дерзко выситься над равниной, но достаточно большие, чтобы заслонить вид ровно настолько, чтобы взгляд не дремал, чтобы не оцепенело тело, коль скоро холмы надо как-то преодолеть. Ни единой вершины кругом, ни крутых поворотов, а вы же знаете: водитель засыпает за рулем, как правило, на ровном шоссе. Вообразите окружение, которое почти не меняется, условимся употреблять слово «окружение» в расширительном смысле, мы встречаем лишь ничтожные отклонения. которые и замечаешь, а все равно будто и не замечаешь, самое большее — на какой-то миг, настолько они несущественны... Подобно этому переживания, беды, случившиеся где-то очень далеко, воспринимаются как ничтожные; да, переживания от непостижимо огромных бед, случившихся где-то в дальних краях, ничтожны в сравнении с сокрушительными потрясениями от самых что ни на есть пустячных бед, случившихся рядом. Можете вы представить себе сто тысяч пакистанцев? Конечно же, нет, и даже если они умерли от чумы, утонули во время наводнения, убиты на войне, погибли голодной смертью, вас это мало тронет.

И так во всем: у нас в Бергене приборы сейсмической станции отметят всего лишь небольшой толчок, чуть-чуть дрогнет стрелка, если, например, погибнет город Скопле, если земля поглотит любой другой город или даже целых три в азиатской Турции... Нет, нет, я не заговариваюсь: думаете, я не умею читать в глазах юных барышень? Все, о чем я говорю, плод ограниченности нашего сознания, а отнюдь не упадка нравственных качеств: мы же посылаем всякий раз этим несчастным наши знаменитые шерстяные одеяла, возможно, и вы тоже? Я не посылаю одеял. Самое большее — отправлю в помощь обездоленным денежный перевод, а затем вернусь к своему телеviso-

ру и буду временами вздыхать, глядя на экран,— поистине человек человеку — рыба. Наше сознание просто не в силах охватить чужую беду, особенно далекую — отчасти, может, потому, что мы в этом смысле мало его тренируем.

Может, так оно даже и лучше, в самом деле, не погибать же нам всем всякий раз, когда гибнут другие! Я только примеры хотел привести, наглядные, можно сказать, примеры. Хотел лишь показать, что мы вообще не в силах представить себе явления большого масштаба, в частности уничтожение многих тысяч людей. Мы легко умножим единицу на четыре, может, даже на четыре тысячи, но мы бессильны представить себе четыре тысячи человек, да и не только — будь то четыре тысячи крыс, шляп, палок, снежинок, все равно мы не можем охватить их взглядом. А уж если взять четыреста тысяч, так нам, чего доброго, это число покажется не больше, а меньше, как это ни странно. Почему? Потому что мы лишены этой способности, другими словами — фантазии. А ведь люди могут почти что все в самых разных областях!

Немецкий писатель Гюнтер Грасс назвал человека гениальной ошибкой, и я склонен с ним согласиться. В его словах нет ничего уничижительного для человека, они лишь направлены против переоценки человеческих возможностей. Ведь в сущности, при всех наших дарованиях мы всего лишь маленькие люди, одолевающие маленькие пригорки, или, как часто любят у нас повторять, «мы всего лишь люди»: «в конце концов, он всего лишь человек». Нет уж, увольте! «Он всего лишь человек»... Подразумевается: «а это не так уж и много...»

— Но бывают же великие люди?

— История свидетельствует, что в большинстве своем они — разрушители. На сто Наполеонов придется не больше одного Фритьофа Нансена. Что не помешало такой культурной стране, как Франция, весь год праздновать двухсотлетие со дня рождения корсиканца. Его член, в свое время отрезанный непочтительным фельдшером, — кстати, член этот оказался на редкость маленьким — был продан за астрономическую сумму некоему американскому миллионеру. Гиганта разрушителя будут сла-

вить вечно, по меньшей мере, каждые сто лет, и славить его будут все, кто готов поклониться разрушителю, как только его статуи покроются патиной времени.

Да, конечно, великие люди бывают. Убийца, например, должен быть великим злодеем и действовать с размахом, чтобы его не спутали с какой-то там мелюзгой, у которой на совести одно-два убийства, мало того: он должен располагать мощным аппаратом, иметь в своем подчинении многих людей. Говорят, будто в каждом чиновнике дремлет Эйхман, но нет, этому я не верю: мы, с нашим жалким доморощенным гуманизмом, грешим сентиментальностью, самоуничижением, но в душе большинство людей поклоняется всякому размаху и силе. На это-то и рассчитывают политические деятели, крупные политические партии, но надо ли упрекать за это политикана, ведь как-никак за него голосуют, его выбирают. Да, но кто за него голосует? Да все мы, кто просто существует, кто прячется от судьбы в пейзаже с крошечными холмами. Выбирают политиканов и люди, живущие среди настоящих диких гор, люди, которых то и дело истребляют лавины, извержения вулканов и прочие катастрофы. Так что же, выросли сами эти люди оттого, что живут среди гор? Стали они от этого свободней духом? Они вынуждены выбирать того, от кого ждут хоть какой-то экономической помощи. Человек видит лишь то, что рядом. А рядом — горы, лавины, дети, которые ходят в школу, мужья и жены, которые, как нас учили, «суть едина плоть». Можно ли вознестись мыслью над горой, когда живешь под ней? Наверно, поэты могут. Но мы-то все не поэты.

— Уж не прорицатель ли вы? А ведь, кажется, вас когда-то считали революционером?

— Вижу, вы не поленились порыться в справочниках, барышня! Может, вы даже читали книгу, повествующую о наших норвежских «золушках», как называют у нас тех, кто выбился в люди? Смешно, что «золушками» прозвали людей, ценой тяжких трудов достигших того, что у нас принято называть успехом. В сказках, которые нам доводилось читать, Золушка ничего особенного не делала, впрочем, пусть — я спорить не

стану. Журналисты обращаются за сведениями к книгам, но ведь всякая книга списана с другой. Отсюда — уйма недоразумений. Концы с концами не сходятся. А сейчас, готов побиться об заклад, барышня, вы сидите и думаете: «Что делать? Старик не вписывается в образ!»

А ведь вправду!.. Не вписывается. Сидела я там как дурочка. Не потому, что он звал меня барышней, такое легко прощаешь старикам, когда тебя посылают к ним за интервью. Сначала я думала действовать по шаблону. Завести речь о его карьере, о том, как он поднимался по ступенькам социальной лестницы, — на случай, если разговор принял бы неприятный оборот...

А потом я зашла в кафе, где обычно не рискуешь кого-нибудь встретить, и вот сижу здесь, а в мыслях — коловорот. Да, кофе, пожалуйста, и еще бутерброд с маринованной селедкой... нет, спасибо, пива не надо, у меня и без того коловращенье в мыслях, может, хоть селедка поможет соображать, а я и правда маленький человечек, да к тому же совсем растерянный, — барышня, которую редакция послала с заданием к старику, ничего особенного в этом нет, конечно, но вот со мной приключилось особенное: создалась некая ситуация — не ситуация, а запутанный клубок, я ведь шла к нему с уймой записей и у него тоже сделала уйму записей, и первые никак не сходятся со вторыми. Если ты овладел ситуацией, все очень просто. Только я никогда не могу ею овладеть. Люди, с которыми я сталкиваюсь, приводят меня в растерянность, они никак не вписываются в образ. И вообще ничего не вписывается в образ, когда сидишь тут одна за столиком в кафе, разглядывая эти бумажки, заметки пресловутые... да их с таким же успехом могла бы настрочить любая другая — о любом другом!..

Прежде всего нужно привести в порядок заметки. Никогда не решаюсь являться в редакцию, не проглядев перед этим заметки, всякий раз забегаю по дороге в какое-нибудь тихое кафе. Все слова вдруг стали чужие какие-то. Пока сидишь рядом с человеком, о котором хочешь писать, все вроде бы как надо. Но стоит только уйти и перечитать написанное... говорят, старые,

опытные журналисты испытывают в точности то же самое, а может, они лишь в утешение мне так говорят. При этом ремесле вечно нуждаешься в утешении. Ступаешь все время по тонкому льду. Оттого-то многие, что называется, не просыхают. Только не я.

До чего же наглые у меня вопросы. Например, про смерть, мыслимо ли спрашивать старика, страшится ли он смерти. Только ведь он сам напросился на это. И он совсем не такой, как можно было ожидать, если судить по справочнику «Кто есть кто». Да еще по этой самой книге про «золушек». Старикан безошибочно угадал, что я читала ее, наверно, все время угадывал каждую мою мысль. Нехорошо, что я называю его «старикан». Вроде жаргон какой-то. Жаргон газетчиков. Кто это сказал: «Как дойдет до дела, человек всегда мыслит чужими мыслями — газетными»?

Кофе, маринованная селедка и черновик интервью... Но большая часть интервью уже записана фразами. («Запомните раз и навсегда: всегда записывайте беседу фразами, а не просто ключевыми словами!») Сейчас передо мной ворох фраз да еще стенографические заметки для сугубо личного пользования, которые никто, кроме меня, не смог бы разобрать. Да только вот не сходятся концы с концами.

В лифте столкнулась с ответственным секретарем редакции.

— Ну как, выжала что-нибудь из старика?

— Он не вписался в образ!

— Странное выражение.

— Это он сам так сказал!

— Понял тебя. Никто не вписывается в образ. Этим-то и отличается жизнь от справочника «Кто есть кто». Да и как, в сущности, узнаешь, кто есть кто?

Шестой этаж. Ответственный секретарь умчался. «Да и как, в сущности, узнаешь, кто есть кто?» Что он имел в виду? Ох уж эти мне многоопытные коллеги, им все равно, что все идет как попало. Или, напротив, совсем не идет. Опыт...



вечно и всюду напарываешься на этот опыт. Опыт учит, что никто не вписывается в образ. И ведь всегда встретишь таких, которым все на свете известно. А что им известно — что все вздор и обман? Может, опыт — это когда человеку решительно на все наплевать?

Сижу тут с моими заметками, кстати, теперь они уже и не мои, просто заметки. А с чего же все началось, да, собственно говоря, с чего? Я спросила его: «Кажется, вас когда-то считали революционером?» Но он разве ответил?

Вот старые заметки, выписки из картотеки, давние заметки, которыми я вооружилась, прежде чем позвонить старику:

...еще в школьные годы работал разносчиком газет. Служил рассыльным в бакалейной лавке. Был учеником в типографии газеты. Специализировался по акцидентной печати. Получил свидетельство о завершении учения. Избран доверенным лицом рабочих. Редактор отраслевой газеты. Издал листовку, призывающую рабочих разорвать трудовое соглашение. Возглавил забастовку. Арестован, осужден на полгода тюрьмы условно. Снова арестован и заключен в тюрьму, произнес речь на главной площади.

Наборщик в газетной типографии. Доверенное лицо. Председатель профсоюза. Заведующий технической частью типографии газеты. Завел собственное дело в пригороде столицы. Много путешествует. Член местного муниципалитета. Депутат стортинга. Как предприниматель, в конфликтной ситуации всегда охотно идет на переговоры с рабочими. Награжден королевской медалью «За заслуги». В годы оккупации — участник Сопротивления. Узник Заксенхаузена\*. Основатель...

Господи, ну и письменный стол у меня! Совершенно невозможно что-либо найти! У ответственного секретаря есть картотека, а при ней дама, она на любой вопрос может ответить: кто, где, когда; вот мне бы на ее место сесть. А секретарь — славный мужик. «Да и как, в сущности, узнаешь, кто есть кто?» —

\* Заксенхаузен — фашистский концлагерь (здесь и далее примечания переводчика).

сказал он, что только хотел он этим сказать? Что люди не такие, какими представляются другим? Ага, не такие, значит, все они не такие, какими представляются...

Только мой старикан (вообще-то я не считаю его «стариканом») со временем стал по-другому смотреть на жизнь, так уж бывает у стариков... а вот еще запись — он сказал, когда подавал мне пальто в прихожей: «Вот вы говорите, меня считали революционером... (Разумеется, он сказал: «Вот вы, барышня, говорите...») Чтобы быть революционером, барышня, нужна революционная ситуация».

Теперь — внимание. Сколько я в том кафе просидела, все расшифровывала свою скоропись — нелепые каракули, которые нацарапала прямо в подъезде в доме у старика; нелегко их разобрать: «под революционной сит. подраз. не кк-ниб. эвент. част. рев. сит., а общ. соврем. полит. обст. кк таков.».

Заранее представляю, как ответственный секретарь будет читать мой материал. «Так... Туманные реакционные бредни». И быстрый взгляд в мою сторону, а уж я, известно, перед ним — в струнку. А он сидит. Не хватало только, чтобы я сейчас сделала книксен. Он уже заносит ручку, готовясь вырубить изрядный кусок, и вдруг во взгляде вопрос. «Нет,— скажу я... быть может, скажу.— Нет, это не реакционные бредни»,— может быть, скажу я. И, собравшись с духом, скажу еще... может быть... что старик пришел к таким мыслям в итоге своей долгой жизни. И расскажу, что он говорил: «все в жизни течет и меняется», и тут-то он и обронил слово «диалектика». Может, даже, распушив перья, я стану наскакивать на ответственного секретаря, скажу: вот ты, к примеру, сидишь себе в этой газете, которая слывет радикальной, вроде бы борется за права женщин и все такое, а между тем вы приманиваете публику снимками голых баб,— кстати, мода на это прошла. Может, и правда скажу что-нибудь в этом роде. И может, ответственный секретарь вскинет голову и быстро, уже как мужчина — женщину, оглядит меня, с головы до ног и с ног до головы, пусть это длится всего лишь миг, а я, может, вспомню тогда, что его

зовут Рейдар, и скажу: «Послушай, Рейдар, ты ведь тогда в лифте сказал, что «никто никогда не вписывается в образ», может, и правда я так скажу. Как-то раз он слегка коснулся коленом моей ноги, было это в тот день, когда мы с ним сбежали в кафе напротив и там, взяв на двоих порцию сосисок с жареным картофелем, наскоро перекусили за столиком у окна, что выходит на улицу. Кажется, и сейчас он покосился на мои ноги? Нет, исключено. Я ведь стою с другой стороны письменного стола, который загораживает меня от Рейдара; стол у него всегда безукоризненно убран благодаря стараниям той самой дамы от картотеки, а она ведь даже и не журналистка. «Как, в сущности, узнаешь, кто есть кто?» — сказал он.

Отчего все так сложно? Другие просто пишут — и в набор. Назавтра никто и не вспомнит об этом, говорят они. Неужто они всерьез? Неужто не важно, каков в действительности этот старик, что он именно такой, как есть? Юкум просунул голову в мой кабинет и заворчал: «Такой ли — сякой ли? Что за вздор, люди есть люди, и у нас не институт психологии». Хороший человек Юкум, всегда рад помочь молодому коллеге. Да только прав ли он? «Ты, кажется, совсем втюрилась в своего старика, в юбиляра этого», — говорит Юкум, подмигнув мне. Не то чтобы он подсыпался ко мне, Юкуму не до флирта. Большую часть своей жизни он провел в погребке «Тострупкьеллерен» и в ложе для журналистов в стортинге. Незачем особенно вдумываться в разглагольствования ораторов, говорит Юкум, мол, в одно ухо вошло — в блокноте записалось. Юкум — не человек, а электронная машина. «Душа моя, — всякий раз говорит Юкум, возвращаясь с пустыми глазами из погребка, — душа моя цветет на картофельной грядке в родном Рингсакере». И тут он сказал: «Не создавай себе ненужных проблем; подумаешь, старый радикал отступился от всего, за что боролся в юности; стоит из-за этого расстраиваться». В его усталых глазах — отеческое сочувствие. «Составь вопросы по справочнику «Кто есть кто», — сказал Юкум, — спроси о его карьере, все они обожают это слово. Расскажи, какой путь он прошел от тюрьмы

и до королевского ордена. И потом, конечно, немножко про Заксенхаузен, люди того поколения охотно предаются воспоминаниям о войне. А уж он непременно скажет, что у него нет ненависти ни к кому, что мир един и так далее, и дальше все пойдет как по маслу,— вот тебе и живой портрет человека, какой от тебя ждут. Словом, желаю успеха».

Так сказал Юкум и уж конечно дал мне добрый совет. Да вот только прав ли он? Может, все обстоит как раз наоборот? Мой «старикан» ведь ни от каких своих убеждений не отступался — просто настали другие времена. Была когда-то революционная ситуация, по крайней мере для него, а сейчас такой ситуации нет. Все очень просто. И к тому же он сказал правду. Впрочем, так ли все просто?

Что-то мне вдруг стало не по себе. Взять, к примеру, слова... как тягостно, что мы так мало знаем о них — почти ничего. Странно, мои коллеги словно всеведущи, кажется, одна я ничего не знаю. По крайней мере, когда дело доходит до слов. Юкум посоветовал как-то: «Когда берешь интервью у людей в их собственном доме, хорошенько посмотри, что у них развешено на стенах, какая в квартире мебель и все такое. Это ведь характеризует человека, а к тому же вы, женщины, мастера подмечать, к примеру, цвет занавесок».

Но мой старик вдовеет уже пятнадцать лет, и я совсем не уверена, что мебель, обитая зеленым плюшем, или же картина с изображением лося, висящая над диваном, сколько-нибудь характеризуют его. Наверно, обстановка всегда была такая, и он даже перестал ее замечать; не видит он ни лося, ни диван, ни даже нелепую этажерку, которая шатается на тонких ножках под грузом книг.

Что же тогда «характеризует» его? Конечно, старик любит поговорить. Отдельные слова произносит с ударением — должно быть, прием оратора, привыкшего говорить с толпой. Не верится, что этот старик с морщинистым лицом, с непокорной белой прядью волос когда-то на главной площади держал речь, за которую его арестовали. Будь у него хоть какие-то признаки маразма... «Вопрос поставлен не совсем точно, барышня. Вы

имеете в виду агонию? Она меня не пугает». Это ли маразм? «А много ли мы живем при жизни?» Это у него-то маразм! Хотела даже спросить его, как только ему удалось остаться таким молодым? Но слава богу, вовремя прикусила язык. Юкум — тот непременно спросил бы. А старик, может, в ответ сказал бы: я потому так сохранился, что в молодости голодал и рано познал тяжелый труд... впрочем, нет, не думаю, наверно, он только взглянул бы на Юкума и красноречиво промолчал бы, мол, «не лучше ли нам обойтись без таких дешевых банальностей?» Да, полагаю, именно так он бы и поступил. А все-таки как же узнать, кто есть кто? В конце концов: кто есть кто? Юкум не знает, редактор не знает, но они даже задумываться не хотят — и это называется «опыт»! Пусть газета — не институт психологии, но должен же портрет человека хоть немного на него походить. А слова, любые слова — печка, пепельница, бумага — порой обретают совсем иное звучание: каждое слово — чудо. Я могла бы позвонить старику, спросить: «Скажите, пожалуйста, какой из ваших портретов верен — тот, что встает со страниц разных справочников, или тот, что сложился в моем сознании?» Но разве можно так поступить, разве другие так поступают? «Self-made man»\* — значит у меня в блокноте с предварительными записями — откуда, черт побери, я это взяла? Меньше всего старик похож на так называемого «self-made man». У таких — жесткие скулы, а в глазах отсутствует удивление. Такие рубят короткими фразами и всегда сами ставят на любом разговоре точку. Вот, значит, еще одно из словечек, которыми часто злоупотребляют, ими кишит наша речь, они высовывают головки из змеиных нор и вопрошают: «Не могу ли я пригодиться?» Нет, мне такие слова не нужны. Я содрогаюсь, когда они попадают мне при чтении, а попадают они на каждом шагу. Конечно, не мысль рождает эти слова — беда в том, что сами слова эти рождают мысли и искажают истину.

\* Человек, который сам себя сделал (англ. букв.). Американское выражение, обозначающее человека, преуспевающего в делах исключительно ценой собственных усилий.

Сижу вот тут одна, в мыслях — коловорот, в голову лезут избитые слова, и снова мне как-то не по себе. Слова, слова... как относимся мы к словам: «старик, старикан, отступился от своих прежних взглядов, с годами смягчился, вы так молоды для своих лет, кажется, раньше вас считали революционером?» Слова — костыли, а может, наоборот, слова — преграды, препятствующие высказыванию. Разве «старикан» прибегал к таким выражениям? Нет, он давал точный, тонкий ответ на мои дурацкие вопросы. Может, он слегка «многогоречив» (старики часто этим грешат, не так ли?), но ему надо было выговориться. А что, если Главный вычеркнет все это, чтобы улучшить интервью? Редакторов хлебом не корми — дай вычеркнуть что-нибудь. «Вот это лишнее», — говорят они. И еще: все это старо, все уже было. Может, и было, но в иной связи. К тому же в повторе иногда скрыт оттенок смысла. Но опытный человек заносит ручку, как меч, он вечно на страже, чтобы сокращать, вылавливать повторы, портить. «Не можем же мы отдать всю газету под твоего старика!» — бодро изрекает Главный. Он весело рубит текст, у них это называется «сделать текст более мускулистым». И остаются голые, усредненные фразы. («Интервью — газетная статья, а не портрет в натуральную величину, изволь придерживаться фактов!»)

Конец, и точка. Прощайте, барышня, прощай, юность.

Как, наверно, раздражает их вся эта старческая болтовня про юность, когда сами они столь юны! Ведь покуда мы молоды, мы не очень-то ощущаем молодость.

Что-то завозился я тут. Может, по такому случаю позволить себе лишний стаканчик, не каждый день все же... господи, ну что за дурацкие слова вечно вертятся на языке, хоть язык откуси, притом, что это было бы весьма некстати, — сколько мы произносим слов, лишенных всякого смысла. Но уж, конечно, в мое время журналист нипочем не отказался бы пропустить стаканчик вина в рабочее время. Хотелось бы знать: насколько древними мы представляемся всем этим молодым, которые кажутся нам такими молодыми?

Такая, понимаете ли, пампушечка из редакции. Но откуда такое слово? Совсем не похоже на меня вдруг назвать молодую и деловую женщину «пампушечкой». Мало откусить собственный язык — ведь сама мысль увязает в этом месиве из слов, лишенных всякого смысла. Вот это был бы предмет для беседы с пишущей молодой женщиной, лучше бы я рассказал ей, как в свое время сидел у наборной кассы и меня тошнило от всех тех пошлостей, которые они, бывало, понапишут в редакции и которые я должен был набирать. Пока у меня не выработался иммунитет и я не приучился отстукивать всю эту пакость бездумно. Только полноте, так ли уж бездумно? Разве не разгорался в сердце гневный протест? Разве не клялся я в душе, что... Нет, душа моя не была покойна...

Скажите, спросила барышня, разве в свое время вы не были революционером? Как же, был, например, когда сидел и набирал все эти пошлые фразы кабинетных революционеров, которые бунтовали от нашего имени с девяти утра и до четырех, не говоря уже о полуночи, когда их попросту осенял гений.

Вот о чем следовало бы завести разговор с барышней из редакции, уж, верно, и она из левых и негодует в душе, что старый бунтовщик с утра и до вечера не палит из ружья. «Бежал от своих прежних взглядов», — должно быть, так они про меня скажут. А что, если взгляды сами бежали от меня семимильными шагами? Не иначе как они ждут от меня, старика, что я весь век буду стоять на баррикаде в шлеме и латах, докрасна раскаленных и светящихся даже во тьме! Что ж, по-своему они правы. Каждый волен вообразить, будто все другие люди в точности таковы, каким им положено быть по инвентарному списку. А вот я, значит, не вписался в образ, да и вообще, как, в сущности, узнаешь, кто есть кто? Вот это и есть вопрос вопросов: кто есть кто, черт возьми?

Вместо этого я принялся рассуждать о смерти; собственно, почему бы и нет, чего еще ждать от стариков, у которых главное в жизни уже позади? Молодые задумываются о смерти, лишь встретив старого человека. Прошлое и смерть идут рука об руку. А вот нынешний, сегодняшней день... способны ли они

вообразить, что у старых людей тоже есть свой сегодняшний день, есть и робкие надежды на будущее, разумеется, речь идет о крохотных шажках, весьма крохотных и к тому же редких... этого они не в силах себе представить... Вполне естественно. Как и все прочее, чего обычно не понимают люди. Старость. Что это, в сущности, такое? Состояние, когда у человека очень многое позади, а впереди — ничего. Должно быть, они так это понимают. И все, что было раньше, приписывают человеку сейчас. Раз был когда-то бунтовщиком, значит, бунтовщиком и умрешь. Целая вереница избитых представлений... так ведь было всегда, и можно ли корить за это молодежь... Ну и комедия: выпил в непривычный час рюмку портвейна, и такая благостность вдруг нашла — вот-вот хлынет через край...

Может, и тут я заблуждаюсь, человеку вообще свойственно заблуждаться. Интересно, что думает такая современная барышня при виде этой старой картины с лосем, которая висит над диваном, при виде старой этажерки, которая шатается под грузом книг? Значит, такой уж вкус у старика, думает она, сказывается пролетарий... хотя, наверное, ей чужд снобизм. Ох уж эти мне старые бунтари, должно быть, размышляет она, на поверку они самые консервативные из всех, увязли по уши в мелкобуржуазном быте, не то что мы — мы и привыкнуть к нему не успели, с ходу отвергли его. Но и это легенда. Да что там, человек должен вписываться в образ, это самое меньшее, что он может сделать, коль скоро ему оказывают честь и берут у него интервью. Что ж, должно быть, в какой-то мере я оправдал легенду. Уж старый лось над диваном расстарался за меня, как мог.

Вот и сейчас я сижу на диване под картиной с лосем и изо всех сил стараюсь вписаться в образ, можно сказать, вжиться в навязанную мне модель из слов. Не удивлюсь, если эта энергичная барышня вдруг позвонит и спросит меня о чем-то. Наверное, у нее концы с концами не сходятся. А редактор ее — навряд ли нынешние редакторы столь сильно отличаются от редакторов наших времен — уж, верно, сидит за своим столом



и уже занес меч — сокращает и правит. «Послушайте, барышня (может, и он тоже назовет ее барышней, должно быть, и он немолод), пора бы, кажется, понимать: у вас получился совсем иной образ, да, да, совсем иной, чем все мы ожи...»

Но тут он вдруг быстро оглядит молодую женщину и преисполнится великодушия. «Факты нужны,— скажет он ей по-английски: «facts!» (хотя тут я, может, угодил пальцем в небо, может, он, напротив, сторонник всего норвежского?),— надо придерживаться фактов!..» И тогда он немножко, а это значит — изрядно, подсократит статью, подретуширует образ. Он скажет: «Нет, нет, я вовсе не призываю вас списывать с книг — с той самой, про «золушек», или с этого «Кто есть кто», только вот как узнаешь, кто есть кто?» Да, возможно, что именно это он ей скажет да в придачу начнет философствовать, ничего, в сущности, при этом не думая, просто он слишком долго был в игре, как теперь принято говорить. Но все же и он, странное дело, подкинул ей тот же вопросик, он вообще-то ничего не хотел этим сказать, просто так выговорил несколько слов, но они запали в душу молодой журналистки, должно быть, она и прежде не раз задумывалась над этим, да только вряд ли подолгу, в редакциях всегда такая спешка, уж что-что, а думать журналистам некогда. «Беда, простаивает типография! Линотипист Эвенсен сидит сложа руки. Так что живо давайте поворачивайтесь, но помните: нам нужны факты, факты, мы не можем заполнять газету раздумьями о смерти!»

И правда, зачем бы им заполнять газету раздумьями об участии стариков? Да скормите вы их волкам, стариков этих, только, разумеется, так, чтобы никто не заметил. Когда чувствуют стариков — это уже почти некролог. Но вот этот старик к тому же изменил свой взгляд на жизнь, бесспорно! А все сомневающиеся — наши враги, запомните это, барышня! Сомнение само по себе губительно, и если вдруг задумаешься: «А как, в сущности, узнаешь, кто есть кто?» — ты уже конечный человек, безвозвратно увязший в болоте индивидуализма! Скажите на милость — «состояния души»!..

Так, сейчас поглядим, вот нас и напечатали! Учтиво, без проволочки, прислали газеты на дом с курьером. Итак: «От арестанта — до столпа общества. Юбилей «золушки».

— И вы совсем не боитесь смерти?

— Вряд ли это много страшнее, чем вырвать зуб,— отвечает наш почтенный, убеленный сединами собеседник, приветливо улыбаясь корреспонденту. Он сидит на семейном диване под картиной, на которой изображен лось, стремительно выбегающий из лесной чащи. Символ былого бунтарства. Седовласый воитель, в свое время подвергавшийся жестоким преследованиям, кажется, примирился с обществом, которое некогда собирался ниспровергать.

— У нас великолепная молодежь,— улыбаясь, заявил он в ходе нашей беседы.— В мое время рабочая молодежь переживала революционную ситуацию,— продолжает он, но тут же оговаривается: — Ах, нет, революционная ситуация давно утратила «актуальность».

Мы позволяем себе деликатно заметить, что он чудо как молодо выглядит.

— Никакого чуда! — скромно протестует он.— У нас была трудная жизнь, но лишения и тяжкий труд никому еще не вредили.

— Пусть жизнь идет своим чередом! — на прощание заявляет он нам.— Не погибать же нам всем оттого, что столь многое гибнет у нас на глазах! Как-никак, а мы живем в обществе, где существует свобода слова! Человек может сказать все, что он думает.

С этими словами седовласый воитель проводил нас до двери».

# В добрый путь!

Мой сосед собрался сойти на ближайшей станции. Тот самый мужлан, который пять-шесть остановок назад спросил: «Место свободно?»— и с размаху плюхнулся на сиденье, да так, что потрянуло все купе. Сейчас он сгребает свою поклажу — газеты, разные вещи, которые он расставил на полу или сложил в висячую сетку,— поразительно, сколько вещей всякий раз тащит с собой человек, чтобы проехать всего лишь несколько километров.

А я выглянул из окна — проверить, подъехали ли мы уже к станции, быстро взглянул на часы, затем снова — в окно. Мы едем мимо кладбища — длинного, узкого. Странно, раньше я не видел его, а ведь я сто раз, не меньше, проделывал этот путь на том же поезде в городок, откуда старомодный рейсовый катер — мой давний приятель — отвезет меня к морю, туда, где стоит мой дом.

Глаз все подмечает: кладбище ухожено, тут и там братские могилы одинаковых размеров, с одинаковыми памятниками. Кто покоится там: жертвы минувшей войны? Или мертвые матросы с одного и того же затонувшего корабля? Странно — ни церквушки, ни даже часовни. Значит, здесь больше не хоронят. А все же могилы ухожены. Есть ли на свете что-либо безутешнее кладбища, на котором уже не хоронят? Мелькнула мысль: как бесконечно много можно увидеть и передумать за несколько секунд, пусть всего лишь за две-три. Поезд сбавляет ход. Значит, мужлан, тот, что повсюду разбросал свои вещи, правильно рассчитал время. Но я по-прежнему

не узнаю здешних мест. Хотя вот мы нырнули в первый туннель средней длины, затем второй, короткий,— будто знаки азбуки Морзе. А все же откуда взялось это кладбище? Никогда прежде его здесь не было. Но может, я просто потому раньше не замечал его, что к концу пути мысли разбегаются в разные стороны или, наоборот, ты уже сосредоточен на всем, что тебе предстоит — сойти с поезда, броситься за покупками, которые надо сделать перед отходом катера, словом, ты весь в ожидании... «пожалуйста, не забудь зайти в аптеку, да, и в винную лавку, и в табачную тоже, конечно», всюду нужно заглянуть — туда, где можно поправить здоровье и его погубить, «значит, не забудь про аптеку и обе лавки», а ведь, кажется, она еще велела купить какого-то определенного сорта шерсти для вязания, да, точно! — вот в левом кармане пиджака смятая записка. Хотя нет, не то. Тогда записка, значит, в кармане пальто, которое висит рядом с окном. Совершенно верно!

Таинственные значки, определяющие качество шерсти, толщину нити, выделку и цвет... уж для него дело чести — расстараться, чтобы вновь не увидеть обидного всепрощения в ее взгляде, как только она развернет покупку, во взгляде, который скажет: «господи, ничего этим мужчинам нельзя поручить...», а губы пропоют, приветливо улыбаясь: «ах, спасибо, как же, спасибо огромное, ты привез именно то, что я хотела...» — и только легкий оттенок голоса выдаст, что... нет, совсем другую шерсть должен был ты купить.

Поезд заметно сбавляет ход. Отсюда видны церковь и кладбище — другое, настоящее кладбище, где покоятся добрые люди, завершившие свой жизненный путь. Но как же все-таки я не заметил второго кладбища, точнее — первого, если считать по ходу поезда? Хоть и понятно волнение путника, который вот-вот окажется дома... да еще этот водоворот покупок — вина, лекарств, шерсти, «а почему бы тебе не прихватить еще хороший кусочек семги?» («Господи, еще и это!»), да, хоть ты и поглощен обилием поручений, но мыслимо разве проделать один и тот же путь сто раз кряду, не меньше, и не заметить кладбища, от которого мы сейчас, должно быть, уже отъехали

километра на три-четыре! Я даже запомнил женщину, которая выходила в тот миг из железных кладбищенских ворот: она шла понуриив голову, но на ней не было траура. Наверно, навещала какую-нибудь могилу, по обязанности, конечно,— может, даже терзаясь чувством вины,— а может, то была просто веселая вдова, спешившая лишь исполнить свой долг перед покойным мужем, которого, в сущности, давно позабыла,— моряком, капитаном корабля. Поразительно, как много можно увидеть или угадать за какие-нибудь две-три секунды. Я встал, все, кому сейчас выходить, тоже встали — так никогда и не приучимся не торопиться,— и дело вечно кончается одним и тем же: потеряв равновесие, мы падаем друг на друга — куча мала. Дама, стоявшая сзади, навалилась на меня, от нее пахнет луком. Впереди — тот самый мужлан с ворохом свертков. Он стоит как стена.

Теперь остается лишь внести багаж — весь ворох покупок — под навес у пристани и удивляться, что ты, по обыкновению, справился со всеми поручениями много быстрее, чем ожидал. Что ж, я люблю порядок и умею распределить свое время. Другой заметался бы по городку, растянувшемуся вдоль берега, а у меня все по плану. Аптека, винная лавка, именуемая в народе «мерзавкой», шерсть, сигареты, почта (не напасешься марок), еще кое-какие заходы по вдохновению, может, дома обрадуются коробке конфет, да не забыть бы и эту копченую семгу, которая мало кому по карману в «семужной стране». Сорок пять минут до прихода катера. А потом еще двадцать минут до его отхода.

— Скажите,— обращаюсь я к человеку в окошке камеры хранения под навесом пристани,— вот я из окна вагона видел кладбище...

— Кладбище?— Взгляд его говорит: «Господи, еще один пропойца!»

— Да, кладбище. Нет, не то, что у церкви, здесь мне каждая тропка знакома,— нет, я о другом кладбище говорю, о том, что видно из окна, когда подъезжаешь к станции, в двух-трех

километрах отсюда.. Я хотел вас спросить: что это? Старое кладбище? Заброшенное, наверно?

— О каком таком «кладбище» вы толкуете?

Кладовщик вправе недоумевать... Взглядом впиваюсь в бородавку у него под глазом, чтобы его смутить,— старый трюк. Но куда там, все старанья напрасны. «Кладбище»... само слово-то какое... и откуда только берутся такие слова?..

— Первый раз вообще слышу про кладбище,— продолжает бородавчатый. На широком лице его вдруг проступает приветливость.— И вообще, я нездешний.

Ах, вот оно что. У кого ни спроси, вечно услышишь: «нездешний». Я извинился за беспокойство, а он объяснил мне, что катер, вероятно, опоздает минут на пятнадцать («если не больше»).

Он сделался вдруг на удивление благодушным — «ничего, мол, не попишешь, приходится по долгу службы»,— и я узнал, что дома у него пятеро детей и мать их, его жена, то и дело потчует его чем-нибудь горяченьким, а уж до чего жалостливая — просто сил нет, все время причитает: «ах, бедняжка ты мой, торчишь день и ночь на своем холодном складе», только это все пустое — «торчит» он там по шесть часов в день, а ночью вообще не торчит, но она заладила свое, хочет, чтобы у него уважения к себе прибавилось, да и не грех пожалеть мужа: тогда ему уже не захочется ныть и клясть свою долю.

— Значит, у меня в запасе целая вечность!— говорю я и, стремясь показать, что трезв как стеклышко, строго смотрю на часы.— Премного вам благодарен,— говорю я, и кладовщик отвечает мне: «В добрый путь!» И лишь пройдя сотню шагов, я изумляюсь его словам — здесь, в наших краях, не принято так говорить, должно быть, это уже весна бродит в крови, на дворе ведь и правда весна, хоть по погоде никак этого не скажешь. Я даже слегка озяб на ветру... словом, я зашагал вниз, под гору, в ту сторону, откуда приехал, зашагал вниз, под гору, чтобы отыскать кладбище, может, я даже повстречаюсь с веселой вдовой, да, конечно, мне ведь нужно лишь доказатель-

ство, лишь примета какая-нибудь, что все на своих местах, и кладбище тоже.

«В добрый путь!» — сказал кладовщик. Я вышел за городскую черту и очутился в сельской местности: то тут, то там мастерские, и кругом этакая идиллическая нищета, дома конца прошлого века с кружевными верандами, окнами на север, обнесенные покосившимися заборами, и чем дальше я бреду, тем больше покосившихся заборов. Даже сама дорога, которой я иду, преобразилась: асфальт сменился добрым старым макадамом, в глубоких рытвинах стоит ржавая вода, и в ней отражается мутное небо. Мне повстречались всего-навсего две машины; трясясь и подпрыгивая на ухабах, они медленно ползли мне навстречу и медленно проехали мимо, и я успел заглянуть внутрь. В первой, недвижно глядя прямо перед собой, сидел за рулем молодой человек; вторую машину вела старуха в нелепой шляпе, но это была другая женщина, не та, которую я прозвал «вдовой», увидев из окна вагона, как она выходила из ворот кладбища... А когда после двух этих малозначащих встреч я огляделся, оказалось, что я уже выбрался на природу, «настоящую» и пышную природу: вокруг простирались луга, овраги, зелень, деревья и кусты, когда-то давным-давно возвращенные человеком, а ныне заброшенные, одичалые. Но и здесь — ржавая вода в длинных рытвинах и всюду топорщится густой кустарник, то тут, то там высятся бугорки, будто небритые мужские щеки. И вдруг я увидел ее. Она шла мне навстречу.

Не может же это быть другая женщина, откуда здесь взяться другой, ведь нет нигде боковых тропок... и я спохватился вдруг, что уже давно, с тех пор как я миновал вереницу старых домов, кругом не видно ни единой усадьбы, ни сараев, ни скота на лугах.

Но когда женщина подошла ближе, меня вновь одолело сомнение. Может — она, а может, нет. Женщина, которую я увидел из окна, та, что, понутив голову, выходила из ворот кладбища, показалась мне молодой, во всяком случае моложе

этой, шедшей теперь мне навстречу, ведь я еще прозвал ее про себя «веселой вдовой», «die lustige Witwe»\*, или чем-то в этом роде, но женщину, которую я вижу сейчас, никак не назовешь веселой. И та ведь была молодая, много моложе этой?

Но шаг у женщины вполне молодой, упругий, и — что же это?.. на голове у нее цветастый платок, в точности такой же, как у той, хотя не мог же я разглядеть платок в те мгновенья, когда поезд пролетал мимо, но, впрочем, может, все такие платки — цветастые, может, каждый из нас непременно представит себе такой вот платок цветастым? Подобная закономерность, кажется, действительно существует: достаточно послушать, как описывают эти платки свидетели в судах. А теперь, раз я уже почти поравнялся с ней, остается лишь остановиться и заговорить. «Простите, не будете ли вы столь любезны сказать мне...» — да, конечно, как полагается говорить в таких случаях: «Прошу вас, извините меня, что я вас побеспокоил... (примерно так ведь всегда и говоришь!) — не будете ли вы столь любезны...»

Но она даже не взглянула на меня, не остановилась, не ответила, только показала пальцем назад, туда, откуда пришла. Иду дальше. Слышу удаляющиеся шаги, но не оборачиваюсь. Почему? Может, просто не смею, ведь я знаю себя, стоит мне обернуться, и я, может, сразу же зашагаю назад. Там катер, на который я должен сесть, вещи, которые я привез: шерсть для вязанья, копченая семга, вино и, конечно же, лекарства, — сколько вещей человек всегда таскает с собой, чтобы обрадовать, удивить тех, кто станет разворачивать все эти свертки, откроет чемодан, рюкзак, сумку. Там — настоящее, там будни, в которые ты позволил себя замкнуть, замкнуть по доброй воле, с радостью, с той крохотной радостью, что дарит тебе каждый день будней, с радостью, которая обволакивает тебя, как пленка, совсем или почти непроницаемая, — любой благословенный день будней, рабочий, трудовой, деловой день, словом, будничный (вот оно — нужное слово!), дни будней, которые текут один за другим, дни, которым мы дали назва-

\* Веселой вдовой (нем.).



ния, чтобы отличать их друг от друга и узнавать, когда они вернутся в очередной раз... У понедельника свое лицо, на нем еще лежит отпечаток только что миновавшего воскресенья с футболом, церковной службой, изредка глоточком вина, чтобы опохмелиться после субботы, у которой тоже свое лицо — след прошедшей недели. Неделя — еще одно слово. А если, например, взять четверг, да, почему бы и нет? — в этот день неделя уже на изломе, хоть всего лишь днем раньше чаши весов были вровень. Но с четверга неделя уже невозвратно клонится к пятнице, которая словно бы заблаговременно подводит ей итог — итог всех достижений или провалов, в пятницу можно задуматься над минувшими днями и скорбеть об упущенном, но при всем при том это день надежды, по меньшей мере надежды, именуемой бегством в субботу, о которой говорят: «слава богу, суббота», — день легкомыслия и веселых телевизионных программ, прерываемых страшными репортажами, призванными пробуждать в наших сердцах радость жизни, особенно когда нам показывают социальные язвы, чтобы мы поняли, наконец, как хорошо мы живем. И, сам того не замечая, нет-нет да и сунешь в рот какое-нибудь лакомство, сидя у телеэкрана и глядя на исхудалых негритят со вздутыми животами, мятежников, восставших против гнета, на измученных заботами государственных деятелей, на министра, призывающего к терпению, на оснащенных парашютами убийц с пустыми глазами, марширующих навстречу новым злодействам во имя отечества и господа бога, если верить министру, президенту, генералу, полковому священнику... Значит, лакомство — в рот, да еще глоточек вина, и кадры на экране быстро сменяют друг друга — то радуют, то раздражают и даже: «Нет, всему есть предел, сейчас позвоню в теле...» — впрочем, ты уже подавил свой гнев, мы-то живем хорошо, лучше всех, и голодных, и сытых, может, даже лучше всех этих изощренных артистов цирка, тех, кто с риском для жизни крутится на трапеции с застывшей улыбкой — от сверкающей головы до гибкой стопы, еще секунду назад напряженно придерживавшей трапецию, чтобы спасти жизнь гимнасту, ко-

торый вертится под куполом на турнике, нет, который уже летит вот к этой трапеции под яростную дробь всех пяти барабанов оркестра, готовых довести зрителя до истерики... А на другой день — просто день отдыха с органной музыкой и бойкими репортажами с футбольного матча.

Итак, я иду по дороге и не оборачиваюсь, хотя очень хочется обернуться, взглянуть на «вдову». Но я упустил минуту, давно упустил. Катер, должно быть, давно уже идет своим курсом меж скал и холмов, должно быть, давно миновал вон тот узкий пролив, с трудом протискиваясь сквозь россыпь островков. Мне так хорошо знакомы эти проливы и островки, и все же я по-прежнему замечаю их и всякий раз гляжу на них с новой радостью — радостью открывателя. Вот этот островок называется так-то, а здесь перед нами — то-то и то-то, здесь я как дома, всякий раз, когда катерок огибает мыс, я заранее знаю, какой вид распахнется навстречу, а все равно напряжен ожиданием, как струна. Увидеть в первый раз небосклон, море, маяк! Вот где катер сейчас, в этот миг, может, даже миновал это место! Мой путь лежит в обратную сторону, он ведет меня напрямиком к кладбищу, которое нет-нет да и мелькнет между деревьев на миг-другой, не больше. Хорошо бы узнать, как обошелся с моей поклажей тот кладовщик — погрузил ли он вещи на катер или же оставил их — чемодан, рюкзак, сумку и прочее — под навесом на полках дожидаться владельца? Но может, кладовщика сменил другой, совсем другой человек, который ни о чем и понятия не имеет, ни о каких вещах, ни о владельце их, — кажется, на поклаже нет моего имени, хотя, впрочем, на лекарствах есть, к пузырькам всегда прикрепляют изящные полоски бумаги с фамилией пациента. Но ведь, чтобы узнать имя владельца, надо вскрыть его вещи, а это карается законом. Если только упомянутого владельца вещей не разыскивает полиция; ну вот, мы уже и докатились до «упомянутого»; приметы: рост 180 см, телосложение обыкновенное, да и вся внешность обыкновенная, без особых примет, глаза голубые, кажется, вот еще родинка справа от пупка — все же кое-какие отправные точки для того, кто станет разыскивать «упомянуто-

го». Прочие приметы? Может, заячья губа? Нет, ничего подобного, никаких особых примет. Может, тирольская шляпа? Я быстро схватился за голову, сорвал с себя берет и швырнул его за обочину; пролетев над полем, он угодил в яму, здесь полным-полно ям, вся земля по обе стороны дороги в ямах, наполненных ржавой водой. А может, правда полиция уже разыскивает «упомянутого», и что с ним такое, скажите, и не был ли он «в подавленном состоянии»? Да нет... Что мы знаем вообще о душевном состоянии ближнего? Как и о своем собственном? Душевное состояние выравнивается с годами. Резкие порывы свойственны лишь молодым. Со временем убеждаешь себя, что рывки, уводящие от нормы — в ту ли, в другую ли сторону, — никак себя не оправдывают, не укладываются в существующие рамки, например, в рамки семьи, да и вообще в рамки твоей среды. Великие порывы уместны разве что в театре, может быть, на трибуне или на футбольном поле, еще, пожалуй, в молитвенном доме; даже в церкви и то резким всплескам не место. В церкви, старинном храме... Так вы говорите, он был в подавленном состоянии? Да как вам сказать?.. Разыскиваемый был сдержан, головой об стенку не бился, проклиная превратности судьбы. Вот теперь — дело другое, теперь нас «повысили»: «упомянутый» стал «разыскиваемым», отныне такой-то и такой-то непременно вспомнят то-то и то-то, да еще с такими подробностями, что все только будут дивиться, как это раньше не смекнули, что творилось с беднягой. Взять хотя бы минувший понедельник, когда «упомянутый» получил письмо из налогового ведомства, помните? — сначала он рассмеялся, а затем вдруг зарыдал, да и вообще он не унимаясь оплакивал горькую участь вьетнамцев. «Ага, все ясно: маскировка истинных импульсов!» — закивает головой психиатр, получив желанное подтверждение худших своих опасений, подозрений настолько страшных, что он тут же схватится за перо и в расчете на щедрый гонорар накропает статью: «Что считать нормой и о чем умалчивает Лэинг\*?»

\* Рональд Дэвид Лэинг (1927) — английский психиатр.

А тем временем человек, тот, кому принадлежат эти наблюдения, все идет меж изрубленных рытвинами полей, прямой как стрелка дорогой навстречу заброшенному кладбищу, которое увидал из вагона.

Человек этот — я. Я видел кладбище. Все мы как-то приспособились к этой жизни, что ж, и я не хуже других, и вот я... сижу сейчас (или, может, «Он» сидит?) в салоне катера, а катер плывет по фьорду, и я сижу, обложившись грудой покупок, в точности как тот незнакомый мужлан, вторгшийся в наше купе; я по-детски волнуюсь в предвкушении встречи, которая ждет меня дома: выну покупки... удивленные взгляды, нет, вы только подумайте, «а шерсть? посмотри, ты такую хотела?», «да-да, конечно, ты угодил в самую точку» (хотя это неправда). И вот «Он» среди своих... А я продолжаю идти тряской дорогой к кладбищу. Зачем скрывать — дорога далека. Но цель пути — кладбище, и притом заброшенное, что может быть страшней, безутешней? Осенило вдруг, что и без того я слишком долго в пути. Но в глубине души знаю: только сейчас и начнется путь истинный.

Все изменилось вокруг, а может, и не изменилось, может, изменился мой взгляд на все, что творится вокруг. Все привычно, и все переменчиво. Ботинки, например, недавно еще крепкие, вдруг прохудились, и я лишился их сразу, сначала сбросил один и ногой отшвырнул влево — итак, с левым ботинком покончено, — затем сбросил другой и отшвырнул его вправо, в сплошную жижу грязи. Потом я сбил одну ногу, и она вышла из строя, затем сбил и другую, на которой кое-как ковылял.

Долго шел я на лодыжках, потом на костях бедер. И все время твердо знал: «Он» плывет в катере и, как ребенок, радостно предвкушает встречу. Хуже всего, что я должен опираться на руки, ничего другого мне ведь не осталось. Я видел, как нищие на Востоке ползли на руках, волоча тело, будто раненые черепахи. Но все же они продвигались вперед, да, продвигались вперед — я сам видел, только это было давно. Кое-кто бросал им монеты. «Черепахи» ртом вылавливали монеты из пыли, выхватывали их синими мертвенными губами. Все видели это,

но щедрые дарители отворачивались, чтобы не видеть. Сам я ничего не давал: зачем поддерживать растущую нищету, то ли дело у нас — в странах, где развито социальное обеспечение! И вдруг еще заразишься сифилисом, бросив монету умирающему калеке! К тому же за тобой непременно увяжется толпа темноглазых детей, похожих на младенца Иисуса, которых, если верить гиду, когда угодно можно распять на кресте. Тут я обернулся и застыл посреди дороги, что тропинкой и то стыдно назвать. В самом деле, вдали будто фигура «вдовы». Но, может, там просто что-то маячит — не то куст, не то человек, бредущий своим путем, навстречу своей судьбе. Как давно это было... Что было? Крохотный катер, игрушечный катерок с прямой, как палка, трубой. Кто-то сидит в салоне, задремав среди вороха рюкзаков, сумок и свертков, — впрочем, все это лишь на радость человеку, который тщится обрадовать другого, купив шерсть для вязанья точно такую, как надо — особого сорта и выделки, цвета и толщины.

Помнится, он сказал: «В добрый путь!» Но что хотел он этим сказать, черт побери?

Что-то подозрительное было в нем. Какая-то вкрадчивая приветливость. Надо было дать ему крону, нет, миллион крон, он нисколько не удивился бы ни тому, ни другому. Почему бы не застраховать свое счастье приличной суммой? Когда летишь куда-нибудь самолетом, непременно приобретаешь страховой полис и уж тут-то нипочем не упадешь и не разобьешься. Компании с легкостью окупают все, что теряют на выплате страховых всякий раз, когда самолет тем не менее падает на землю, да еще немало прирабатывают сверх того. Вот о чем я думаю, а сам тем временем ползу на руках, как нищий на Востоке. Помню, в какой-то из дальних стран один тип, околавившийся при посольстве, рассказал мне («сугубо между нами, конечно»), что люди в этой стране, которую вообще-то он высоко чтит, отрубают ноги собственным детям, чтобы они могли зарабатывать увечьем на жизнь. Он добавил: «Знали бы вы только, что делают с дочерьми», похотливая улыбка дрогнула в

углах губ, и он тут же отставил руку с коньяком — спешил показать, что кого-кого, а уж его такое не привлекает. Коньяк?..

«В добрый путь!» — сказал ему благодетель с бородавкой под глазом, высунувшись из окошка камеры хранения. Должен же быть какой-то смысл в этих словах, может, предостережение или напутствие, порожденные привычным подозрением, что клиент, наверно, под мухой: ведь только выпив для храбрости, смеет человек, наконец, обратиться к служащим с робким вопросом — ведь он боится, как бы его не убили на месте, не казнили чиновничьей казнью. Но кладовщик с бородавкой просто сказал: «В добрый путь!» Стучит, гудит в голове, в спине, в селезенке и сердце, не разберешь где... По обочинам тропки все больше воды на полях, и вода эта все заметней отдает ржавчиной, теперь тут совсем не пройти, да и надо ли проходить, что ему нужно здесь? «Ему» ли, другому ли, словом, тому, кто спокойно сидит на борту катера, среди сумок и свертков. «Хорошо, что ты пришел, наконец... Я так волновалась». — «А я и сам волновался». — «Ты? Отчего?» — «Боялся, вдруг не приду».

«Премного вам благодарен», — говорит человек, тот, что ползет по тропке, продвигаясь с помощью рук, волоча по земле свое тело. Он пройдет этот путь до конца. Все удалось ему на сей раз. Велика милость господня. Право, у жены не было никакой задней мысли, когда она послала его за шерстью, и у него тоже не было мысли поймать ее в эту сеть из шерстяных ниток, ниток особого цвета, сорта и толщины. Упорно, как черепаха, ползет он к цели, раз, два мелькнувшей среди кустов, и пусть стыдно человеку передвигаться ползком, а все же он в ударе сейчас, и душа преисполнена благодарности... Люди — если только здесь есть хоть один человек — не поняли бы, что к чему. Сам он нисколько не ропщет. Не то чтобы он был в восторге, а впрочем?.. Глухо ноют раны, которыми покрылись обрубки ног, зато плечи раздалились и окрепли, окрепли и поширили ладони, покрылись мозолями, это уже не обычные руки —

скорее, десантные шлюпки вроде тех, какими пользовались солдаты союзников при высадке в Нормандии,— ну что же, руки отвечают своему назначению, они тащат его вперед мощными рывками, руки верны ему.

А все же я дойду до того кладбища, даже без рук, без ног...

У великих воюющих держав в годы войны были тайные лагеря, там держали в корзинах так называемых «basket babies»\*; люди продолжали жить в этих своих корзинах — голова и обрубок тела,— продолжали жить, тосковать: жить, как прежде, между «вчера» и «завтра». И сказать по чести, никто особенно о них не печалился, не разыскивал их. Особые приметы? Да уж, кажется, об особых нет речи. Кто-то, может, хром, кто-то парализован, а не то левша или кривой, у третьего — татуировка на груди, на плечах... А тут — извините. Никто не хромает, не косит, не прячет татуировки — по той простой причине, что нет их — ни ног, ни глаз, ни рук...

«Смелей вперед, старина!»— говорю я себе, кое-как, на свой лад, пробиваясь к цели... а мысли все об одном — о том, чего не успел. «В добрый путь!»— как сказал кладовщик с бородавкой под глазом.

\* Basket baby — вариант однозначного «basket case» (первоначально американский военный жаргон) — человек, лишившийся рук и ног.

# Письмо от Ива

Письмо лежало в саду на столе, легонько вздрагивая на утреннем ветру. Он придавил уголок конверта кофейником — так он всегда поступал с почтой, которая могла подождать. А чаще всего она могла подождать. С некоторых пор он привык откладывать все дела, если, конечно, они не требовали срочного исполнения. Верный своему твердому правилу, он допускал к себе дневные заботы не скопом, а по одной, чтобы избежать резкой утренней встряски, небезопасной для того, кто долгими годами стресса нажил себе больное сердце.

Он поднес к губам чашку с кофе и уже протянул было руку к первой (запретной) сигарете этого дня... но письмо все же чем-то его встревожило. Конверт он небрежно вскрыл черенком от ложки, и адрес отправителя вверху у самого края, превратившегося в бахрому, теперь уже нельзя было прочитать. Внимание его привлекли марки — три марки с портретом Петена. И почтовые штемпели, сплошной узор штемпелей, беспорядочно напозавших друг на друга... хотя при известной дотошности их все же можно было разобрать. Письмо отправлено из Парижа 16 августа 1944 года — тридцать лет назад, стало быть.

Он опустил на стол, не пригубив, чашку кофе, и все же у него достало хладнокровия зажечь запретную сигарету, будто в рассеянности — напускной рассеянности человека, словно бы наблюдающего со стороны за тем, как сам он разыгрывает свою роль, на сей раз роль изумленного адресата письма, отправленного тридцать лет назад из Парижа, который в ту пору был в руках немцев. Только теперь собрался он с духом



настолько, чтобы поднести письмо поближе к глазам. Листок пожелтелой бумаги в голубую линейку, должно быть вырванный из тетрадки, исписанный зеленоватыми, теперь уже выцветшими чернилами. И снова взгляд на потрепанный конверт с множеством зачеркнутых адресов — может, письмо принесли ему по ошибке? — впрочем, нет: оно адресовано ему, и никому другому. В хаосе адресов и штемпелей четко выделяется его имя. Должно быть, все эти годы письмо путешествовало из города в город; такое бывает, о таком читаешь в газетах, только обычно это приключается с кем-то другим, не с тобой. Вспомнился чей-то рассказ о письме из Америки, которое странствовало по планете много десятилетий кряду; в нем сообщалось о смерти на переломе веков богатого дядюшки в штате Айова; да, поспей эта весть к сроку, она сделала бы адресата состоятельным человеком...

Слово за словом пытался он разобрать истрепанное годами письмо, уловить хоть какой-то смысл в полуистертых буквах.

Язык письма, заключил он первым делом, — странная смесь норвежского со шведским с вкраплениями французских слов. Подпись разобрать невозможно, по крайней мере, с первой попытки. Не то «Ирэн», не то «Ивонна», впрочем, с равным успехом могло быть и любое другое имя. Только французские штемпели и марки и наводили на некоторые догадки. Ясно одно: под письмом только имя, фамилии нет, да и имя, как и все прочее, нацарапано кое-как, наспех, и вдруг обожгла мысль: а что, если письмо написано в тюрьме, что, если кто-то наспех писал его в своем застенке, на неровной подставке, может, ему даже не дали его дописать, да, наверняка не дали — ведь письмо оборвано на полуслове... Из всего можно лишь понять: «только бы ты был жив», и напоследок каракули вместо подписи.

Да, конечно, человека прервали, он спрятал конверт в щели, которую, может, нашел в голой тюремной камере, а уж после кто-то вынес письмо на волю одним из тех сотен способов, какими ухитряются выносить из застенков послания обреченных.

Конечно, все это лишь догадки, игра воображения, фантазии — первое, что приходит в голову, когда нечто непостижимое вторгается в мирный обычный день, в теплое солнечное утро в саду, когда ты наскоро завтракаешь этим летним утром в северном крае у моря, где чайки выются в небе и чуть приторно пахнут только что раскрывшиеся розы, — безоблачный, мирный пейзаж с человеком в центре. Но, увы, это отнюдь не значит, что миром дышит вся планета, по крайней мере, до тех пор, пока в центре пейзажа по-прежнему — человек.

В рассеянности, которую напускаешь на себя, уступив желанию как бы следить за собою со стороны, будто стремясь оправдаться перед неким вымышленным наблюдателем, он погасил сигарету. Но ведь, черт возьми, как раз сегодня вся семья уехала в город: скоро сюда нагрянут дети, да еще молодежь, а потому, видите ли, срочно нужно купить пояса для плавания и всякое такое прочее. Стало быть, нет никого, перед кем стоило бы разыгрывать недоумевающего исследователя.

И все же он не мог совсем отказаться от этой роли. В задумчивости прошел он в комнату с письмом в руке — образцовый, пронизательный детектив. На аккуратно расчищенном письменном столе (чрезмерная аккуратность — свидетельство летней праздности — не радует сердца) он разгладил смятый листок. Бледные зеленоватые каракули то складывались во фразы, то вновь рассыпались на части. И вновь, как прежде в саду, когда ему впервые бросилось в глаза письмо, он принялся изучать подпись в смутной надежде, что она и есть ключ ко всему посланию — только бы ее разобрать.

Однако именно подпись не удавалось прочесть. Долго вертел он в руках листок и понял лишь одно: «Ирэн» и «Ивонну» надо отвергнуть. Выход один — постараться сначала понять, о чем же говорится в письме, и, может, тогда станет ясно, кто его написал. Вечно одно и то же: сначала пробуешь так, потом эдак — и все тщетно. Он вздохнул, пробормотал что-то вроде «разберу после», не слишком на это надеясь и, что еще хуже, не столь уже пылко стремясь разгадать загадку. С годами у него

появилась слабость — и он вяло боролся с ней, хоть сам корил себя за это,— бросать дела на произвол судьбы, откладывая что только можно и всего, что можно, избегать. Мелькнула мысль, ставшая уже привычной, он лишь всегда страшился додумать ее до конца: «Все это неважно, да и ничто уже не важно так, как мы воображали когда-то,— сами себе придумываем зряшные заботы». Лень... лень души, а может, и смутный страх. Перед чем? Перед всем, что может ворваться в будни, преобразить будни, попросту говоря — остановить, а не то и перевернуть их вверх дном. Само по себе это уже беда — брешь в броне привычек, затвердевшей за долгие годы, броне, ограждающей счастье, скудное счастье человеческих будней. Или, может, покой. Точнее, отсутствие беспокойства. Покой, тот, что с годами принимаешь за счастье, часто рушится от взрывов прошлого, в нем заложенного, скрытого, а следовательно, и забытого. Можно, конечно, сойти к берегу моря, попробовать ловить рыбу на блесну,— глядишь, какая-нибудь рыбешка клюнет на приманку. Сказано — сделано. Только вот рыба не склонна клевать на приманку, что ж, она в своем праве. Попробовать искупаться, что ли,— нет, и море не склонно его принять. Что ж, и оно в своем праве. Он был полон терпимости и всепрощения, когда речь шла о рыбе, море и всем таком прочем. Он нуждался в терпимости: не судите, да не судимы будете. А за что могли бы его осудить, тем более сейчас? Вроде бы и не за что, сейчас-то уж, во всяком случае, не за что. Да и в те далекие, минувшие времена, когда пал Париж, на нем тоже не было вины, это он точно знал: кто он такой, чтобы от него зависел исход борьбы при такой крупной ставке... И уж если кому из друзей не повезло, он тоже не виноват. И если в ту пору он и впрямь приложил к чему-то руку, все равно результат был ничтожно мал, словно он, самое большее, пошевелил мизинцем,— с годами лишь улыбнешься, вспомнив эти усилия. В ту пору, конечно, мы только и жили роковой битвой, что кипела вокруг,— да, теперь можно улыбаться, а все же каждый из нас так или иначе расплатился за это. Впрочем, в ту пору расплата не казалась пустячной. Зато теперь только и скажешь: бездели-

ца. И о нашем «вкладе в борьбу» так можно сказать, в борьбу, захватившую нас целиком. Все безделица сущая.

Ныне здесь мир и покой — после стольких беспокойных лет он заслужен. О прошлом не говорят, даже не вспоминают. Возделываешь свой сад, ведешь свое дельце, читаешь свои книги — среди них те, что рассказывают о той поре. Книги эти уже не тревожат тебя: другие времена, другие люди оживают в них. А будни с их потоком новостей, вливающих через газеты, телевидение, радио,— это всего лишь отзвук былого. Даже взрывы бомб — всего лишь отзвук прошлого, далекий грохот бомб, звучащий с телеэкрана.

Он бредет вдоль берега моря: ни до чего ему как будто нет дела. На чистом, почти летнем небе сияет солнце. Море чуть наморщилось, не грозное, не враждебное, но и не мертвенно-призрачное. Разве что только до этого ему сейчас и есть дело, только эту реальность он признает, беззаботно бредя вдоль берега нынешним утром, которое кто знает во что выльется после. Раздумывая о своей беззаботности, он чуть натужно радуется, да и можно ли не радоваться ей, помня о скверне, охватившей мир, о войнах и переворотах, о голодающих детях, о взрослых, которых пытаются в звуконепроницаемых гаражах, где палачи обливаются потом, избивая дубинками и плетьюми политически неблагонадежных профессоров, музыкантов, государственных деятелей, требуя у них сведений о единомышленниках, будто бы угрожающих режиму, медленно выбивая из них жизнь. Вот о чем думает человек, бредя вдоль берега моря в трех-четыре часа лёта от этих мест преступления. В мире не счесть таких мест, но сейчас он бредет вдоль моря и ничем не может помочь.

Мысль эта приглушает радость от сознания, что сам он в безопасности и покое, но и только,— она не приводит его в отчаяние, не исторгает у него крик боли: вздумай он закричать, это было бы лишь грубым притворством. Да, вздумай он изображать по этому случаю скорбь, это было бы непристойной ложью и лицемерием — при том, чем он занят сейчас. А занят он тем,

что прогуливается вдоль моря, раз-другой пробует закинуть блесну, вытаскивает ее, зная, что закинул впустую, но несколько не сетуя на бесцельность прогулки. Он не из тех, кто взял бы на себя бремя вселенской вины, не в его это натуре, да и вообще ни к чему. Где-то в душе его (в самом заветном ее уголке) тлеет тоска: ему не по себе от мысли о всех несчастных, о жертвах, не по себе от мысли, что сам он рад бы забыть о них и их муках. Но он не чувствует, что все это происходит сейчас, в этот миг, не чувствует истинного вживания, боли, которая, допусти он ее до себя, захлестнула бы его с головой, швырнула бы оземь. Бывают, говорят, люди, которые исходят кровью при одной лишь мысли о том, кого распяли на кресте две тысячи лет назад. Но он не из таких. Он может прослушать кассетную запись песен Теодоракиса, ощутить при этом мимолетную «греческую» боль, но разве может он положить руку на сердце поклясться, что при этом страдает? Напротив, в сердце — великая тишина, чреватая взрывом, как аура, которая окружает мину: пусть мина размером с картофелину, но тот, кто вздумал бы отбросить ее ногой, сразу лишился бы обеих ног, а не то и рук, челюсти, подбородка... Он может остаться в живых, пусть с одной лишь правой верхней половиной лица, пришитой к шее, в свою очередь прилатанной к обрубку тела, в котором по-прежнему бьется сердце, бьется, пульсирует, гоня кровь в другие обрубки, без иной связи между собой, кроме той, что обычно как раз и создает сердце своей упрямой работой, стимулируемой, скажем, электрическим прибором, в лучшем случае способным обслужить конечности с приживленными к ним кусками мяса, а также органами, взятыми у кур и свиней. Но смотри-ка, у самой кромки воды лежит какой-то предмет, круглый «миноподобный» предмет, издевательски похожий на человеческий череп; конечно, может, это самый что ни на есть обыкновенный поплавок от рыболовной сети, один из этих старомодных шаров, что, отслужив свое, порой валяются здесь в песке, день и ночь омываемые волнами; чем угодно может оказаться этот предмет — здесь по сей день плавают мины, на погибель людям замаскированные в свое

время под невинные поплавки. Такие вот штуки, когда-то, видно, рожденные хитроумными головами в подземных лабораториях, но ныне давно уже устаревшие, нелепые, если взглянуть на них опытным взглядом эксперта... да, и все же их много плавает здесь, сколько раз приходилось об этом читать. А что, если тронуть шарик ногой, тронуть совсем легонько, взглянуть, как он перекатится, обнажив скрытую свою сторону, будто обратную сторону Луны, да, Луны, по какому такому праву Луна скрывает от нас свое лицо? В тот самый миг, когда нога коснется его, чтобы перевернуть, шарик откроет истинное свое лицо, но кому? Уж конечно не тому, кто ударит его ногой, стремясь узреть обратную его сторону. Неужто нет границ человеческому любопытству? Да, поистине нет границ. Он тронул шарик ногой, но шарик этот упрям, он даже не шелохнулся, лежит себе в мокром песке, как и прежде, не переворачивается, не открывает истинное свое лицо, так где же ты, взрыв? Я призываю тебя, призываю тебя, смерть, разом кончай эту игру, это неведение... Удар! Да, как на футбольном поле в былые дни, в дни детства. («Бей!» — кричали ему с полупустых трибун. «Пли!» — и он рад был бы увидеть, как вратарь падает замертво, лишившись вдруг рук и ног, — только бы мяч угодил прямо в ворота.)

— Пли!

Крик его повис в пустоте. Смешался с однообразными криками чаек. Взрыва нет. Никаких аплодисментов с пустых трибун. И все равно взрыв где-то внутри, в сознании, в голове — он вдруг схватился за нее, продолжая стоять на берегу моря... Прикинулся перед самим собой, будто кто-то видел, слышал его великолепный удар. Разве не крикнули ему: «Бей! Пли!»? Он не стыдился сейчас своей игры, просто он — жертва самовнушения, навязчивых представлений. Волна отнесла шар от берега. «Опасно для судоходства», — вдруг мелькнуло в мозгу. И другие слова: «Мина обезврежена»...

Обезврежен опасный «предмет», впрочем, как оказалось, он ни для кого не опасен, даже и для того, кто ударил его ногой. Но будь это мина (а он и вправду однажды видел, как саперы

обезвредили подобный предмет) — да, тогда бы он теперь уже не стоял у моря, а, вероятно, лежал бы в песке — поверженный человек, труп или в лучшем случае полутруп, расколотый, разрубленный взрывом вдоль или поперек. А скорее всего — мертвец.

Он плавал бы в иле, мертвец, который всего лишь секунду назад был человеком. Так вполне могло быть, и все потому, что он ударил шар ногой, вообразив, будто это футбольный мяч и к нему возвратилось детство, он снова мальчишка на стадионе, и друзья в азарте кричат ему: «Бей!», «Пли!» Те же слова, возможно, кричали солдатам, свершавшим казнь у опушки леса, — ныне там высится памятник казненным, к подножью которого всякий раз утром 17 мая\* приносят венки. А может, при казнях в ходу совсем иные слова команды? Как знать, ему ни разу не доводилось присутствовать при казни, но, должно быть, все происходит примерно так. Говорят, одна из винтовок всегда заряжена дробью, — каждый палач, таким образом, может надеяться, что не повинен в грехе, в необходимость которого он смутно верит. Необходимость для чего? Для сохранения мира, для спасения отечества — уж люди всегда найдут слова, чтобы оправдать свой поступок. Поступок, ужасный для всех, кто причастен к нему: для командира и для солдат, для того, кого расстреливают, предварительно напялив ему на голову мешок, — конечно, ужасней всего для него, ужасно и непостижимо для всякого, кто этого не пережил, и тем паче для того, кто пережил это. И значит, все же не пережил. Потому что никому не дано пережить собственную смерть...

Он ударил по шару ногой — хоть и надо признать, риск, что шар окажется миной, был совсем невелик. И тем не менее риск был... Он видел когда-то, как обезвреживали мину, она в точности походила на этот вот шарик; возможно, мины нарочно изготовляли похожими на буйки, правда, у мины еще должен быть отросток, или рог, но тогда он этого рога не видел, хотя видел шарик вблизи, ведь он же сам, а не кто другой после недолгого

\* 17 мая — День Конституции Норвегии.

колебания вызвал по телефону саперов, заранее конфузясь: вдруг штука окажется безобидной... Но безобидной-то она и не была. Уж как его благодарили тогда, как хвалили за догадливость и решимость: столько развелось теперь равнодушных людей, которым наплевать на все, что творится вокруг, такие разве что подумают (а может, даже не подумают): «Какое мне дело, главное — держаться в стороне, не вмешиваться ни во что». Один неосмотрительный удар по mine в тот раз — и конец. А теперь что же? Смех, да и только. Это же просто буюк от рыболовной сети, люди охотно вылавливают их для украшения рыбацких кафе, чтобы создать «атмосферу».

В таких кафе подают филе мороженой рыбы с гарниром из шампиньонов и всякой всячины, и блюдо это называется «весь Париж», клиент ест мороженую рыбу, любуясь сетями, развешенными повсюду, шарами из стекла или темного металла, и ему мнятся волны и крики чаек. Тут уж не надо бояться, как бы вдруг не случилось взрыва и не взлетел на воздух «весь Париж» вместе с официантами, столиками, посудой, клиентами и прочим. Такого не бывает... Но ведь могло бы и быть, могло случиться, пусть в воображении хотя бы одного человека; однажды ему уже довелось наблюдать беднягу штурмана, чей корабль не раз подрывался на минах,— измученного доходягу вдруг захлестнули видения войны; он закричал, упал на пол, на губах — пена, к нему кинулись со всех сторон официанты, вырядившиеся рыбаками, и, стараясь, насколько можно, не привлекать ничьего внимания, вывели его вон, а клиенты с нарочитым спокойствием, будто ничего и не произошло, продолжали трапезу, может, только чуть усерднее опорожняли рюмки, от души желая друг другу здоровья.

А он по-прежнему стоит у моря... он ударил ногой этот шар — хотя какое ему дело до шара? Солнце уже стоит высоко. Удивительная штука — время, сплошь и рядом оно кажется нам непостижимым, все чаще и чаще непостижимо оно ему самому, стало быть, «прошло много времени», так ведь, кажется, о времени говорят? Что толкнуло его на прогулку по пляжу,



должно быть, о чем-то хотел или, наоборот, не хотел думать, от чего-то бежал. Письмо. Ну конечно. Письмо, отправленное тридцать лет назад. Он вдруг понял все. Он знает теперь, кто послал письмо. Должно быть, Ив. Подпись на листке была не «Ирэн», не «Ивонна», а просто «Ив». Но тут, у моря, на пляже, откуда ему знать такое наверняка?.. Странный мальчик был этот Ив, в ту пору уже беженец: детское простодушие сочеталось в нем с умудренностью старца. С какой пронизательностью оценивал он поведение взрослых, но притом самым удивительным образом путал и переставлял слоги в словах. Не то чтобы он не умел выражать свои мысли, совсем напротив, а все же страдал таким загадочным недостатком: путал слоги и буквы, как только их оказывалось в слове больше трех, а уж если и того более... Случалось, Ив соединял первый слог с последним, все же промежуточные нагромождал как попало, — разумеется, когда ему приходилось писать, а писать ему пришлось очень рано, слишком рано, говорили тогда педагоги. Сумятица возникала всякий раз, когда Ив должен был письменно излагать свои на редкость ясные мысли и впечатления, а в тех случаях, когда мальчик очень уж возбуждался, это сказывалось и на устной речи: с красиво очерченных губ ребенка слетали обрывки слов.

Время вдруг отошло куда-то, вновь стало непостижимым, — впрочем, теперь это с ним часто бывает. Все эти годы Ив вспоминался ему малюткой, а вспоминался он ему часто. Ив виделся ему мальчонкой лет шести. А ведь сейчас Иву, если, конечно, он жив, должно быть лет сорок. И вот тут-то время перерастает в иное качество, перестает быть тем смутным, загадочным понятием, которое всегда занимало, тревожило его. Иву сейчас, должно быть, лет сорок. Если, конечно, он остался в живых. А почему бы ему не остаться в живых? Слишком уж плотно в ту пору обступила ребенка смерть.

Он повернул теперь назад, к дому, и зашагал быстро, выбрав короткую дорогу верхом, чтобы не идти берегом моря: уж очень отвлекало оно от дум — волнами, «минами», качавшимися на

них, видениями взрывов и смерти. Но вскоре он замедлил шаг, остановился, постоял немного, затем снова быстро зашагал и снова остановился. Маленький Ив привел с собой вереницу образов из минувших времен. Отец Ива был полуфранцуз-полуеврей, по профессии инженер, человек утонченно интеллигентный — внешне он слегка походил на знаменитого политика Мендес-Франса, впоследствии появившегося на политической арене Франции. Мать была родом из Швеции, тоже полуеврейка; — супруги ездили из Швеции во Францию и обратно, подолгу жили в Норвегии, где у них тоже была родня.

В самые последние годы перед войной многие интеллигенты жили то там, то тут. Единственный ребенок в семье, маленький Ив с его умудренным взглядом золотисто-карих глаз, чрезвычайно способный к рисованию, лепке, музыке, математике, стал в шведском кругу родных чем-то вроде любимой игрушки. В Норвегии быт складывался проще: Ив подолгу жил на каникулах у фьорда в Южной Норвегии, рано научился грести и управляться с лодкой, с четырех лет плавал как рыба, на зависть норвежским мальчишкам с голубыми, как море, глазами, менее преуспевшим по этой части, чем кареглазый Ив. Родился он, должно быть, году в 1935-м, да, конечно, в тридцать пятом, да, да, и именно в самом Стокгольме. Впоследствии, приезжая сюда, родители часто брали мальчонку с собой и все чаще удобства ради и, безусловно, ему самому на благо оставляли его «на время» у шведской родни, а иногда у норвежской; менялись семьи, в которых он жил, детские сады, которые он посещал, но всюду покладистый Ив был принят как родной, всюду его хвалили, а порой даже баловали без меры. Речь его была странным смешением разных языков, весьма выразительным, когда ему удавалось высказать свою мысль, и звучала она для взрослых ушей «очень мило»; над Ивом часто подтрунивали, не со зла, конечно, а так, как обычно подтрунивают над детьми, когда им случится сказать что-то смешное. Ив рано выучился писать, но только по-своему. Если сразу не приходило на ум нужное слово, он начинал рисовать. Как знать, может,

в той или иной стране, в каком-нибудь ящике комода или стола хранятся до сих пор его необычные письма.

В памяти человека, который бредет по тропинке домой, год 1939-й разом ожил: сейчас этот год ближе ему, чем любой другой год жизни, чем любое другое время, ближе даже нынешнего дня, ближе этого мига, который и сам по себе — чудо. Мобилизация. Австрия. Чехословакия. И все, что предшествовало этому: грозные тучи везде, также и на Севере, — издалека они выглядели черными, но будто ненастоящими. И вторжение немецких войск в Польшу было тоже будто и не совсем реальным. Лавина объявлений войны, попранных обязательств, насилия. А на Севере, где в ту пору жил Ив, среди людей, что окружали его, — чуть заметное расслоение: милые молодые родители полуфранцузского, полуеврейского корня словно вылушились из среды северян... расслоение, поначалу неуловимое, стало затем чуть более приметным. Не то чтобы угасла симпатия к обаятельным чужеземцам, совсем напротив, их чуть ли не обожали, и все же... а затем вдруг этот внезапный отъезд — очертя голову — из Стокгольма. Домой! Назад, во Францию, чтобы защищать родину!.. А тут эта странная война и робкое топтание войск по обе стороны линии Мажино, перед рывком гитлеровцев на Север, перед разгромом. Молодые родители Ива сломя голову устремились на родину, а мальчика в ту пору как раз отправили к норвежской родне, к мирному фьорду на юге Норвегии. А девятого апреля мальчика вновь переправили через границу, конечно, опять же под крылышком родни. Разразилась война на Севере, который прежде всегда дышал миром, хаос, страх — в этом тоже было что-то нереальное. Что знал обо всем этом маленький Ив? Что понимал он? Многое. Потом это стало ясно.

Он стоит посреди тропинки. Ему вдруг вспомнилось все. Все вспомнилось, что только он знал про Ива, — давно уже не представлялось ему все столь четко. Может быть, он играл сам с собою в прятки? Да, он прятался, годами прятался, с каждым годом уходил от этого дальше и дальше. Он жил своей жизнью...

и все переменялось в ней с тех пор. Но он часто думал об Иве, хотя, впрочем, что это значит—«думал»? Мысль о мальчике нет-нет да мелькнет, и не больше. Но он всегда вспоминал лишь о мальчике, не о мужчине, которым тот стал, если только жив. Почему-то не верится, что он жив: как могло случиться, что мальчика отослали домой, во Францию? Может, так распорядились родители? Этому ему не привелось узнать, но скорее всего это сделала шведская родня. Нам, по нашу сторону границы, в ту пору и без того хватало забот.

«Мы», «нам»,— думает он теперь, хотя память смутно рисует его собственное участие в делах тех дней так, словно речь идет о ком-то другом. Да разве в сущности это не так? Невозможно остаться прежним спустя столько лет. Снова всплыло понятие «время»... Когда и как могли отослать Ива из Швеции через Англию, удивлялись потом,— должно быть, примерно в 1943 году, да, кажется, так. И когда же узнали, что отец Ива убит в Освенциме? Помнится, тогда уже пошли слухи, хотя кое-кто их и опровергал, будто мать Ива предали французы, соотечественники мужа,— имя ее упоминалось вместе с именем писательницы Ирмагд Койн и других немецких евреев, искавших спасения во Франции, но нашлись французы, которые выдали их представителям германской расы господ. Из уст в уста передавались имена деятелей культуры, художников, эмигрировавших из Германии,— эти «презренные» воображали, что обретут безопасность во Франции, на родине самой Свободы... А еще позже, уже много лет спустя, стало известно, что отец Ива сражался в маки, был партизаном, хотя в силу своего происхождения рисковал, понятно, вдвойне. И о самом Иве тоже шли разные слухи: одни говорили, будто его спасли, другие говорили другое. Вместе с именами миллионов других мальчиков, девочек его имя занесли в картотеку и затем зачеркнули, но имена эти возродились вновь — в протоколах и в списках. Послевоенное время, с его безумной борьбой за власть, мало благоприятствовало гражданам, сделавшимся следопытами, сколь отчаянно ни простирали бы они беспомощные свои руки на восток и на запад.

Он все так же стоит посреди тропинки. Вспоминает. И в то же самое время следит за человеком, который вспоминает былое. «Дядя знает», — не раз говорил в ту пору Ив; все, мол, знает этот «шведский дядя», ему можно довериться. И верить, что «дядя» все знает. В ту пору потрясло: мальчик думал, что взрослые всеведущи, может, это шло от его французского воспитания, где так высоко ставится престиж взрослых, — мальчик думал: «Взрослые знают все лучше тебя»...

Он стоит посреди тропинки и вспоминает: золотисто-карие глаза Ива вопрошали и вопрошали без устали, хотя сам мальчик знал много больше своих сверстников-северян. Откуда только знал он все это? Уж этот еврейский ум!.. — в ту пору шло много толков о нем, вообще обо всем еврейском, и каждый хотел отвести от себя подозрение — не в антисемитизме, конечно, все, разумеется, выше этого, — а подозрение, будто ты вообще хочешь выделить, подчеркнуть нечто семитское... Было много сумбура в те дни в нейтральной Швеции; однажды в читательской почте профсоюзной газеты опубликовали письмо, в котором говорилось: а чем, в сущности, плохи эта война, нацизм и прочее, на что жалуется интеллигенция? Разве не лучше живется сейчас рядовым шведским рабочим? В ответ раздался рев негодования; поток обличающих писем, статей нарастал, и росло возмущение, но подспудно теплилась робкая оговорка: в чем-то все же негодяй прав, чьи-то дела ведь явно пошли на лад. Все повторялось — ведь и в статьях о Гитлере, о режиме его в годы, когда бушевала война, нет-нет да проскальзывало: что угодно можно сказать об этом типе и системе его, а все же...

Он стоит посреди тропинки, минутами полностью погружаясь в прошлое, с той напряженностью, что выжгла собственное «я» даже у него, привыкшего постоянно наблюдать за самим собой. И точно так же она выжгла время и его бег. Господи...

Он выговорил это слово вслух: «Господи!»

Сроду не веровал он ни в какого бога, сроду не помышлял о религии. Просто у него вырвался стон из глубины души, вопль из

пучины растерянности. Сколько уж раз, год за годом, накатывала она — полная растерянность, вынуждающая мозг рождать бессмысленные стереотипы. Чайки с криками потянулись к морю. Значит, успели договориться о чем-то между собой на своем языке, потаенном языке чаек; у них-то есть крылья. А он стоит на тропинке, у него нет крыльев, и тайный язык чаек ему неведом. Он не был ребенком в ту пору, когда кареглазый Ив пытал его своим взглядом. Будь он ребенком, он мог бы не отвечать. А так он был просто подавлен своим глубоким, как бездна, неверием взрослого, столкнувшимся с детской верой, с убежденностью ребенка, что у взрослых на все есть ответ! Мигом раньше он, быть может, и эти слова выговорил бы вслух, губами, но сейчас он уже перестал наблюдать за собой как бы со стороны — он от всего свободен. Ребенок спрашивал его о своих родителях: почему уехали папа с мамой, как уехали? Но он-то знал: уже в самих этих вопросах — больше ответов, чем мог бы дать пытливо вопрошающим детским глазам «шведский дядя». «Мальчик о многом догадывается», — только и говорили в ту пору, люди привыкли гадать, делиться своими догадками. Потом они оставили это. Северяне стали бережно хранить свои тайны; было время открытости и доверия вопреки повсеместным призывам не доверять никому, было — и прошло. На смену ему пришло время скрытности.

Он стоит на тропинке и слышит — будто где-то еще звенят голоса — вот эту беседу:

- Дядя знает.
- Что ты хочешь этим сказать?
- Дядя большой.
- Подумаешь, большой!..
- Дядя — взрослый.
- Ну и что с того?
- Взрослые — они знают.
- Что они знают? Что?
- Всё.

Этот доверчивый взгляд... Должно быть, Иву шел в ту пору десятый год. Наверно, было это как раз перед тем, как его

отправили, отослали домой: кто же все-таки мог это сделать? Может, настояли родители? Кто теперь скажет? Наверно, было это перед тем, как их убили в Освенциме, — мы и сейчас не все знаем. Стою вот посреди тропинки в двух шагах от своего дома... а что я знаю о делах тех дней? Стою посреди тропинки, на полпути между незнакомым пляжем и домом, который принято называть родным, моим домом, моими буднями, повседневностью. Знаю, что мое «я» — всего лишь смутное понятие, это «я» уже скоро растворится, скоро отойдет в мир иной. «Отойдет», «отошел» — так говорят обычно о поезде, который отошел от перрона и спустя секунду уже скрылся за поворотом. А вот самолет «отрывается от земли» и, набрав высоту, исчезает с глаз провожающих; они заслоняют глаза ладонью от солнца и видят самолет еще долго после того, как на самом деле перестают его видеть. Он продолжает свой полет на сетчатке глаза; поезд, скрывшийся за поворотом, тоже продолжает свой путь, мчится дальше в воображении оставшихся. Так и жизнь моя: долго еще после того, как она кончится, сгинет, — разве не сохранится она, как явление, запечатленное на снимках? А сетчатка собственных моих глаз? Разве не запечатлела она в свою очередь все, что мне довелось пережить, в подкрепление мифа о жизни, продолжающейся после смерти, мифа о «вечной» жизни на этой моей сетчатке, мифа, порожденного судорожной человеческой самозащитой: как, черт возьми, смириться с тем, что тебя не станет!..

Он снова произносит эти слова вслух, вползвуча, но произносит со страстью и бранится, будто в чем-то убеждая себя. Кто, черт возьми, просил его влезать в так называемые тайны жизни — попросту говоря, в тайну жизни? Что может знать об этом человек, который стоит посреди тропинки и вспоминает — да, вспоминает того самого мальчика Ива, маленького человека из времен давно ушедших, столь давних, что их будто и не было никогда, может, и мальчика Ива не было никогда, а если мальчик и был, то нынче ему лет сорок, не меньше, может, он сторонник Миттерана, а может, и нет, может, он статс-

секретарь в очередном новом правительстве, которое неизвестно сколько продержится. А может, и нет. Может быть, Ива вообще уже нет на свете.

Но вот письмо. Письмо. Сплошные каракули. Чехарда слогов в длинных словах, смешение трех языков. Путаница букв в самых коротких словах, сумятица, но не сумятица мысли, а сумятица образов, слов — что ж, и слова могут творить сумятицу в мыслях. А ведь эта сумятица образов в свое время породила Джэксона Поллока\*, течение, в ту пору названное ташизмом, породила потребность в создании картин в отрыве от прежних изобразительных средств. Был в самом взгляде ребенка вопрос, настойчиво требовавший ответа; было знание — и незнание, и была умудренность; некоторые говорили о мальчике «не по возрасту развит», мол, это «галльское начало» в нем — должно быть, хотели сказать «латинское», — начало, требовавшее ясности, четкого знания, не туманных германских домыслов. Ив много рисовал в ту пору в стиле, который потом назвали ташизмом, какой-то врач обронил слово «шизофрения», в ту пору оно было в моде, но шведская «тетя», пожилая художница, взялась учить Иву, она лишь презрительно фыркнула, узнав про врача, и сказала: «боже избави нас от психоаналитиков»; она научила мальчика рисовать слова, какие он не умел писать, а звали ее Сири Деркерт, потом ее объявили гением — как всегда, слишком поздно. То было время смуты и познания, время «новой психиатрии», той, которую спустя много лет, когда появился Роберт Лэинг, стали считать старомодной.

Он стоит посреди тропинки на полпути между пляжем и домом и вспоминает все, что было тогда. Дома, на столе, излишне аккуратно расчищенном, лежит, дожидаясь его, письмо. И в озарении, внезапном, как искра, ему вдруг открывается тайна блеклых каракулей.

Тайна открылась ему; он мчится домой, не разбирая пути,

\* Поллок Джэксон (1912—1956) — американский живописец-абстракционист.



по камням и кочкам. Где-то среди каракулей письма маячило слово «умер» или, может, «уемр», мальчик часто переставлял буквы. В том коротком письме говорилось о смерти — листок сейчас стоит у него перед глазами, сейчас, когда он, задыхаясь, мчится домой со стремительностью, с уверенностью ясновидца. Это письмо — вопль о помощи, стон ребенка, призывающего к себе на помощь взрослого друга; стон, который звучит в словах, в слогах, нелепо перепутанных; это стон смерти, той смерти, что застила ребенка свет, став для него формой существования, жизни, сведенной к ожиданию рокового исхода, единственного, что не обманет, — близкой гибели. Все умерли вокруг, и смерть уже не витала над ним смутной угрозой, а стала непреложностью — единственной непреложностью в этом мире. А все же в этом вопле о помощи, в письме этом звучал вопрос — в память о надежде, которую связывал мальчик с некогда мирным Севером, где люди не умирали, а жили, были полны жизни — непостижимой, неохватной формы существования для девятилетнего мальчика, беспросветно окруженного смертью — смертью отца, смертью матери, смертью дяди и тети, смертью всех близких, о которых говорили, что они умерли, называя или не называя их поименно, а не то вдруг смолкая на полуслове «из жалости к ребенку» — ребенку, который все понимал лучше всякого взрослого и все обобщал в безграничной игре фантазии, неумного воображения: жизнь невозможна без смерти, жизнь и смерть — два лика одного и того же. И вдруг этот вопль о помощи и последний вопрос к далекому «дяде»: «Дядя, ты жив? Ты не умер»? И последние слова письма: «Только бы ты был жив».

Растерянно сидит он за большим письменным столом, перед ним — листок бумаги с неразборчивыми каракулями. То есть они тогда казались неразборчивыми (как давно это было!), когда он тщетно пытался их разгадать. И лишь на тропинке среди холмов, покрытых вереском, он вдруг увидел это письмо, именно потому, что в тот миг уже не видел его.

Он сидит у стола, зная: там, на холмах, среди вереска, ему открылась истина. Перед ним — письмо-заклинание, вопль,

обращенный в пространство, стон ребенка, окруженного бездонным пространством смерти: может, все же остался на свете кто-то живой, может, не умер дядя,— прошу тебя, дядя, милый, откликнись, напиши мне, что ты жив, что в мире, в том, другом, твоём настоящем мире еще остались живые люди, о которых не говорят, что они умерли, не умалчивают «из жалости к ребенку». Всех этих слов не найдешь на маленьком листке бумаги, но именно таков смысл письма. Это отчаянный вопль о помощи, призыв, воплощенный в каракулях, которыми мальчик в смятении испещрил листок, вырванный из тетрадки. Где он мог это сделать? Может, на каком-нибудь чердаке, где скрывался вместе с другими, вроде того чердака на Принсенграхте в городе Амстердаме, где много дней и ночей ютилась со своей семьей Анна Франк. Может, маленький Ив провел последние свои дни в точно такой же мансарде, где спрятали его добрые люди — может, какая-нибудь дальняя еврейская родня,— и он жил там, а кругом были крысы и вши, кругом была смерть, беспрестанная угроза смерти и неотвратимость ее, может, зловещее слово «mort» («смерть») олицетворяло для Ива единственно возможный исход, единственный выход из этой жизни, столь короткой жизни ребенка, может, в его сознании уже стерлась грань, отделявшая жизнь от смерти. Смерть стала для него единственной непреложностью. Но в этой непреложности мрака был один, пусть ничтожный, просвет, узкая щель в застлавших небо грозовых тучах, тучах, насыщенных, начиненных угрозой взрыва, начиненных ею, подобно той «мине», что недавно лежала, омываемая прибоем, у кромки моря, подобно тому круглому шару, который он ударил ногой, чтобы... да, конечно же, чтобы узнать, взорвется он или нет. Может, то был единственный, тонкий, как волосок, проблеск на черном небе в обступившем мальчика черном, начиненном угрозой пространстве, в тишине чердака, которую вдруг разорвал вой пуль, пуль из пулемета, установленного где-то на крыше, может, даже на крыше той самой мансарды, где прятался мальчик Ив, где сидел, склонившись над листком из тетрадки, вода по нему огрызком цветного карандаша,

последнего цветного карандаша из великолепного большого набора, который он привез с собой сюда из Стокгольма, что есть силы прижимая его к сердцу на всем пути стремительного бегства сюда, на родину, в объятия смерти. Да, так оно могло быть, да так оно и было наверняка, у него нет сомнений в этом теперь, когда он сам сидит у стола, склонившись над этим листком бумаги, который мальчик послал ему тридцать лет назад. Он чувствует, как обступают его мысли мальчика, — может, Ив думал примерно то же самое, что и далекая, старшая его сестра в смерти по имени Анна Франк, когда, склонившись над листками своей тетрадки, прислушивалась к бою часов на башне Вестерторен: «Для меня невысказанно строить все на мыслях о смерти, несчастье и хаосе. Вижу, что мир постепенно все больше и больше превращается в пустыню, слышу все ближе раскаты грозы, которая может убить и нас... и все-таки, когда я смотрю на небо, я думаю, что и этой жестокости должен прийти конец, и снова мир и покой воцарятся на земле»\*.

В письме Ива, написанном огрызком зеленого карандаша, не содержалось столь четко выраженной мысли, да и не было у мальчика такой спасительной веры в ту пору, тридцать лет назад, когда он корпел над своим письмом к «дяде». Проблеск света, надежды в черном грозовом небе виделся мальчику в смутном воспоминании об ином, светлом небе Севера, населенного «дядями», которые, может быть — может быть! — еще живы. А жив ли мальчик Ив? Жив ли сорокалетний мужчина, бывший некогда этим мальчиком, жив ли гражданин Ив, который мог бы снисходительно улыбнуться в 1968 году при виде бунта студентов, — да только вряд ли бы он улыбнулся. И уж вовсе не снисходительно. Да жив ли мальчик, и, если жив, остался ли он таким же, как прежде? Нет, никто не может остаться таким, как прежде, каким был когда-то, в какой бы то ни было миг «одной и той же» жизни. Потому что жизнь «не одна и та же».

\* Дневник Анны Франк. Перевод Р. Райт-Ковалевой.

Вот он получил листок с письмом Ива сегодня утром, в «тот же» день, что и сейчас. Да только сейчас уже не тот же день, не то же пространство и время, не тот же и человек, который утром получил по почте письмо и ничего в нем сперва не понял. И не понимал до той самой минуты, пока, стоя у кромки моря, не ударил ногой по «мине»...

Отчаянный вопль о помощи, скрытый в листке пожелтелой бумаги, в блеклых зеленоватых каракулях, вдруг стал собственным его немим воплем — это он сам тщетно взывает к миру, от которого не дождешься ответа.

Но тсс!.. тише. Сюда идут. В прихожей голоса, светлые голоса тех, кто вернулся домой. Где же письмо? А, вот оно. Сложенное пополам, оно лежит в его загорелой руке, живой как и прежде, той самой руке, которой касался Ив, у которой искал защиты. Рука мужчины всю жизнь одна и та же, и твое тело — всю жизнь одно и то же, хоть и меняется, оскудевает плоть. И твое «я» сокрыто в этом теле, и никому не дано читать в своей душе.

Но он впитал душой надежду в письме Ива — луч света, посланный тридцать лет назад с парижской мансарды, луч знания, отраженный Сириусом или другой звездой и устремленный в бездонный мрак, где в грохочущей тьме тихо клубятся отзвуки судеб.

— Ах вот ты где! Ну как ты тут коротал время в одиночестве?  
(«В одиночестве!»)

— Спасибо, хорошо! А ты как провела время?

# Содержание

- 5 *Ю. Нагибин* Немного о Юхане Боргене и его рассказах
- 12 Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего детства... \*
- 28 Жимолость \*
- 36 \* Цыпленок
- 51 Декабрьское солнце
- 71 Кто есть кто
- 89 В добрый путь!
- 102 Письмо от Ива

**ЮХАН БОРГЕН**  
**ДЕКАБРЬСКОЕ СОЛНЦЕ**

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*  
Редактор *Т. Иванова*  
Обложка художника *А. Панина*  
Художественный редактор *Л. Филиппова*  
Технический редактор *Г. Голосовская*  
Корректор *Л. Шмелева*

**ИБ № 758**

---

Сдано в набор 19.04.82. Подписано в печать 11.11.82.  
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура  
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л.  
5,89. Тираж 50 000 экз. Зак. № 515. Цена 70 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов  
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома  
при Государственном комитете СССР по делам изда-  
тельств, полиграфии и книжной торговли. 143200,  
Можайск, ул. Мира, 93.

---

**В библиотеке журнала  
«Иностранная литература»**

**вышли в свет:**

**Ясуси Иноуэ (Япония) — ТРИ НОВЕЛЛЫ**

**Леонардо Шаша (Италия) —  
ПАЛЕРМСКИЕ УБИЙЦЫ**

**Герман Кант (ГДР) — ОБЪЯСНИМОЕ ЧУДО**

**Вити Ихимаэра (Новая Зеландия) —  
В ПОИСКАХ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА**

**Хоакин Сантана (Куба) —  
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЛИЦЕ МАГНОЛИИ**

**Надин Гордимер (ЮАР) — ДОМ ИНКАЛАМУ**

**Рэй Брэдбери (США) — В ДНИ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ**

**Эржебет Галгоци (Венгрия) — ВДОВА СЕЛА**

**Джеймс Джойс (Ирландия) — ДУБЛИНЦЫ**

**Сид Чаплин (Великобритания) — ТОНКИЙ ШОВ**

”Цель искусства — улавливать малейшие изменения в духовном климате общества”, — писал ЮХАН БОРГЕН (1902 — 1979), крупнейший норвежский писатель XX века.



Эти слова в полной мере применимы к творчеству самого Боргена, всегда жившего тревогами и заботами нашего времени. Перу писателя принадлежат десятки романов (среди них переведенная на русский язык трилогия: ”Маленький лорд”, ”Темные источники” и ”Теперь ему не уйти”), пьесы, эссе. Юхан Борген — превосходный новеллист. Рассказывая о судьбах человека в современном мире, писатель умеет проникнуть в самые глубинные пласты человеческого сознания. Его новеллы свидетельствуют о тонком стилистическом мастерстве.